

Как только
я позволял себе
немного
искренности,
окружающие тут же
принимали это
за маску. Страница 106

Анатолий Андреев

Прелести Лиры (сборник)

«Автор»

2011

Андреев А. Н.

Прелести Лиры (сборник) / А. Н. Андреев — «Автор», 2011

Городские повести А. Андреева, сюжетные и психологичные, рассчитаны на читателей разных уровней подготовленности и запросов. Сквозные темы повестей – любовь и творчество, спутниками которых выступают одиночество, поиски смысла жизни. Чувство, которое испытывают незаурядные герои, является космическим по своей природе. Вот почему мужчины и женщины живут в городе Минске, расположенном на планете Земля, которая представляет собой частичку Вселенной. Автор прослеживает развитие чувства, украшающего жизнь людей, во всем богатстве его оттенков; иногда именно взаимная любовь делает жизнь почти невыносимой. Вечные темы и проблемы... Главный герой – художник, писатель, поэт, – творец, становящийся заложником собственного «лирического» дара. Любовь и творчество, по Андрееву, связаны между собой весьма причудливо. «Красота и гениальность» порой становятся оборотной стороной такого смыслового ряда, как «жестокость, бесчувственность, пошлость». Человек прельщается солнечно-яркой стороной бытия; все это сопровождается яркими переживаниями; но и цена за яркую жизнь немалая... В повестях нет стихов, но они пронизаны поэтическим мировосприятием. Ощущение живописности, пластичности мира тонко передано в стиле. Произведения также объединяет игровое начало, связанное с парадоксальностью и, следовательно, ироничностью мышления.

© Андреев А. Н., 2011

© Автор, 2011

Содержание

Апельсины на асфальте	5
Пустота	25
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Анатолий Андреев

Прелести Лиры

Сборник повестей

Апельсины на асфальте

1

Тени у меня получились сиреневыми, а извилистые стволы деревьев ничем не отличались от теней. Видимо, только я мог отличить тени от стволов, кроны – от облаков, а корову от журавля. Ну и что? Кто сказал, что это недостаток сегодняшней живописи?

Недостатков у картин может быть много или мало, но у них должно быть одно непеременимое достоинство: они должны продаваться. В них должно проступать что-то такое, что заставляет снобствующих толстосумов с восторгом выкладывать свои денежки. Не талант, это точно. А впрочем, своего рода талант: тонко подыграть вкусам толпы, сделать своим полотном комплимент тому, что они изволят считать вкусом. Нет проблем, господа. Вы хотите такие тени, которых не бывает в природе, но которые ваше коллективное воображение считает отчего-то более чем правдоподобными? Вы хотите эти тени – вы их получите. Лично меня воротит от моей сиреневой мази. Ну и что? Кто сказал, что работа за деньги должна приносить удовольствие?

В сущности, натура мне была не нужна, она даже угнетала меня своим невыдуманным великолепием. Я выбрался на природу не для того, чтобы ее рисовать. Облака были вовсе не такими условными размалеванными овалами, которые лубочно застыли на моем эскизе. Их непередаваемый серенький цвет мучил и терзал мою душу. Воплотить эти неброские оттенки в масле было верхом мастерства и воображения – но «господа» пищали от моих овалов. Я слыл неподражаемым колористом. Пленэр доставлял мне удовольствие особого рода: я творил карикатуру на свои представления о красоте. И эту карикатуру немцы и бельгийцы покупали за милую душу.

– Разве тени бывают такими? – раздалось у меня за спиной.

Я обернулся. Великолепные вьющиеся волосы оттенка «красная ночь», большие распахнутые глаза с таким характерным разрезом, забыть который художнику совершенно невозможно. Это не просто разрез «под лисичку», это целый образ – то ли наивной, то ли искушенной девицы. Хотелось думать, что наивной. В облике ее не было ничего вульгарного и тем более порочного. Пухловатая нижняя губка, в целом чувственный рот, обрисованный четкими линиями. Девушка яркая, индивидуальная, написать ее портрет – дело несложное, а всем будет казаться, что картина удалась благодаря таланту художника. А тут заслуга натуры. В левой руке, согнутой в локте, она держала апельсин и покачивала его на ладошке.

– Таких теней не бывает, – сказал я. – Я их придумал. Вам не нравится?

– Нет, мне не нравится.

– А почему вы решили, что меня, взрослого пятидесятилетнего человека, знающего о живописи столько, сколько вы не узнаете за всю свою долгую и прекрасную жизнь, должно интересовать чье-то мнение?

– Извините, мне, конечно, не следовало... Я иногда лезу не в свое дело.

Я ожидал другой реакции – оборонительно-агрессивной. «Публика всегда права», «для кого же вы пишете» – что-то самоуверенное в этом роде. Извинения делали ей честь. Кстати, голос у юной незнакомки также был весьма выразительным, женственным. Многообещающим.

– Скажу вам по секрету: мне тоже не нравятся мои тени. Перейдите, пожалуйста, вот сюда.

Я попросил стать ее в трех шагах от себя, спиной к солнцу. Тенью – ко мне.

– Как вас зовут? – спросил я, и пальцы мои, легко сжимавшие карандаш, полетели по плотному листу бумаги, за считанные секунды обозначив прелестный овал ее лица.

– Маруся, – ответила девушка, поправляя волосы правой рукой. В моем воображении застыло и навсегда отпечаталось это почти произвольное движение. Выражение лица стало слегка задумчивым и нерешительным; в нем невозможно было отыскать ни капли, ни тени кокетства – и это придавало ему особый шарм. Движение и поза были явно женскими, кокетливыми – но она не производила эффект, а, совершенно забыв о публике, немного ушла в себя. Чуть-чуть, самую малость. Она приоткрыла свое другое измерение. Сам факт того, что оно у нее было, делал девушку необычайно привлекательной, даже манящей. Я больше ни разу не взглянул на нее и быстро дорисовал ее портрет, сверясь со своим ликующим воображением. При этом автоматически продолжал задавать вежливые светские вопросы. Есть ли у нее мама? Папа? Где она учится? Хорошо ли учится? Я никак не мог решить, нужен ли ей апельсин на моем портрете. Решил, что нужен. Апельсин в руке довершал ее образ. Мне не надо было ничего придумывать. Ухаживают ли за ней мальчики?

Папы у нее нет, мама есть. Мальчики пытаются ухаживать. Учится она на факультете философском (!), хорошо учится.

– Кто бы сомневался, – буркнул я и поднял глаза на девушку Марусю. Она с нескрываемым любопытством смотрела на меня, и я понял в чем дело. Глаза у меня горели, внутренне я был собран, а язык мой нес какую-то чушь, рассчитанную на воспитанного подростка.

Я рассмеялся, она улыбнулась в ответ. Я не сомневался, что мы без слов поняли друг друга.

– Держите, – я протянул ей рисунок. Мне было не стыдно за него.

– Класс, – сказала Маруся. – Просто прелесть. А где же ваш автограф?

Я сотворил размашистую закорюку, и поставил дату: 17.05.2003. Потом подумал и добавил: 11 ч. 33 мин.

Маруся взяла свой портрет и отчего-то покраснела. Я же говорю: мы понимали друг друга без слов.

– А как зовут вас?

– Оскар Михайлович Малахов.

Она улыбнулась.

– Вам не нравится Оскар?

– Нет, Оскар мне нравится. Просто имя необычное.

– Эстонское. У меня дед эстонец.

– А у меня бабушка эстонка! Ее звали Мари.

– Фантастика, – сказал я. – Сколько вам лет?

– Двадцать.

– В сумме нам семьдесят. Не очень-то много на двоих.

Она опять зарделась. Краснела она легко: вспыхивала ровным румянцем и быстро отходила.

Надо было прощаться. И тут я удивил самого себя:

– А давайте встретимся завтра? Здесь же, в это же время.

– У меня лекции.

– А после лекций?

– Не знаю, – сказала Маруся, явно сбитая с толку. – Давайте попробуем. И что мы будем делать?

– Я расскажу вам, почему я рисую мерзкие тени, хотя неплохо умею писать портреты. Это интересно?

– Интересно.

Больше она не сказала ничего, однако я оценил ее тактичность. Ведь я, что ни говори, поставил ее в сложное положение. Не сомневаюсь, ей хотелось узнать, женат ли я, зачем я назначаю это во всех отношениях странное свидание. Она не ставила под сомнение чистоту моих намерений. А это высший человеческий пилотаж. С другой стороны, ее вопрос о моем семейном положении прозвучал бы двусмысленно. Молчанием она дала понять, что оценивает сотворенную мной ситуацию в одном возможном в этом случае ключе: нас может объединить только платонический, культурный, человеческий интерес, но никак не интерес мужчины к женщине.

– До завтра, – сказал я.

– До завтра.

– Кстати, – спросил я, складывая мольберт, – почему вы не спросите, женат ли я, зачем я назначил вам встречу? Разве я настолько стар, что меня возможно заподозрить в бескорыстии?

Маруся покраснела.

– Человек, который сумел так передать мой облик на портрете, мне очень интересен. И вы вовсе не выглядите старым.

– Спасибо. Я женат, моему сыну двадцать пять лет.

– А он не женат?

– Трудно сказать...

– До завтра. Ой, подождите.

Она подошла и вложила мне в ладонь нагретый апельсин.

– Спасибо за урок тактичности. И за рисунок. Приятно, что тебя видят такой со стороны. Хотя, по-моему, здесь многовато комплимента. Я проста. Как апельсин.

– Я ничего не придумывал, – сказал я. – И я не скромничаю. Наоборот: самое сложное – ничего не придумывать. Вы любите апельсины?

– Люблю. За красоту. И за вкус. Только я не люблю их чистить.

– А мне доставляет удовольствие чистить апельсины, – сказал я и рассмеялся.

Мне действительно нравится снимать с апельсинов плотную пахучую кожуру. А вот чистить картошку – терпеть не могу.

2

Странно: за прошедшие до следующей встречи сутки я ни разу не задался прямым вопросом, зачем я назначил свидание девочке Марусе с философского факультета. Но я ни на секунду не забывал, что вскоре увижу ее вновь.

Ни о какой любви или желании завести интрижку и речи не могло быть. Я знал себя, свой вкус и свои принципы. Тридцать лет разницы – серьезный барьер даже для художника. Она привлекла мое внимание, думал я, как редкий экземпляр, как роскошное исключение. Для натурщи она была слишком уникальна: она годилась только на тот образ, которым была сама. Взять ее как натуру – значило разгадывать только ее, не помышляя ни о каких типажах. Это был разовый, штучный «продукт». Девушки с превосходными задатками натурщи никогда не нравились мне как женщины (настоящая женщина – всегда индивидуальность): именно поэтому мне было легко «снимать», фиксировать их позы и потом придавать условным позициям необходимый мне, индивидуальный смысл. Они бесстрастно позировали, то есть в буквальном смысле принимали и меняли позы, создавая язык жестов и энциклопедию поз – азбуку

моего искусства. Множество поз скрывали пустоту, они были бессодержательны. Маруся и «поза сама по себе» были вещи взаимоисключающие. Она органически не умела позировать. Вот такая поза, исключая «позу», и была мне интересна. В пятьдесят лет естественность становится главным эстетическим критерием. Да и человеческим тоже.

Иными словами, я сам себе незаметно подобрал версию о том, что Маруся интересуется меня как объект искусства, как своего рода супермодель. Самим фактом существования она имела отношение к самому главному в жизни для меня. К чему же, если не к искусству?

Меня это вполне устраивало. Совесть моя была чиста – до того момента, когда я увидел Марусю во второй раз. Я занял выгодную и удобную позицию: с какой бы стороны ни подошла Маруся, я увидел бы ее первым, а она бы не заметила меня. Так и получилось. Она двигалась со стороны Свислочи неторопливой походкой, уверенная в том, что не опаздывает. Девушка была собранная и цельная. Откровенно говоря, ее волосы и выражение лица присутствовали каким-то фоном, я замечал их только краем зрения. Я не мог оторвать взгляда от ее восхитительно крупноватого женственного зада, обтянутого черными брюками. Зад был выразительным, бедра соответствовали ему идеальной пропорцией. Нехорошее подозрение шевельнулось во мне. Я вспомнил, что я и в первый раз отметил про себя линию ее фигуры и бедер, но как-то быстро забыл об этом, списав, очевидно, на профессиональный интерес к волнующим линиям. Мир состоял для меня из цвета и линий. Маруся была как бы не при чем. Оказалось, что линии Маруси волновали меня как мужчину. Я несколько растерялся и поторопился выйти из своего укрытия.

Маруся улыбнулась мне как старому знакомому. Мы болтали ни о чем – и я отметил про себя свое подозрительное красноречие. Все, что попадало в поле нашего зрения, становилось любопытнейшей темой для размышлений, ассоциаций, импровизаций, весьма поучительных историй, главным героем которых чаще всего был я, а если и не был, то история, которую выбрал я, говорила о моем вкусе, чувстве юмора и житейской мудрости. Если не лукавить, то я не просто развлекал мою спутницу, но и производил на нее впечатление, пользуясь моментом. Я ни на минуту не забывал о том, что Маруся учится на философском, и ни на секунду не сомневался, что выбор факультета был не случайным. Говорю же: красноречие мое было подозрительным. Я словно преследовал самого себе не ясную цель. Видите даму с задумчивым бульдогом? Колоритно, правда? Кто на кого похож? Сразу и не скажешь. Если с дамы снять очки, то, пожалуй, она станет похожей на пса, а если на бульдога нацепить очки, то, скорее, он станет похожим на хозяйку. На эту тему есть одно занятное воспоминание времен моей бродячей юности. Любопытно? Пожалуйста. Могу шрам показать в доказательство. Нет, не могу. Он на том месте, которое не принято показывать малознакомым девушкам. Это было во Владивостоке. Шла себе одна дама и вела на поводке угрюмого бульдога. Я их увидел и расхохотался. Меня покусали... Писающий мальчуган? Очень интересно. У соседа, моего ровесника, такой же прелестный внук. И дочь чуть старше вас. Кстати сказать, сосед работает водолазом. И знаете, что вчера нашли в Свислочи? Мертвое тело. Суицид. Я знал несчастного утопленника. Нескладная судьба. Нет, я умру не так. «А как?» – спросила она с улыбкой. Боже мой, между нами действительно разница в тридцать лет, и в такие моменты она отчетливо ощутима. Это надо же: так легкомысленно относиться к смерти. Впрочем, она еще не начинала жить. «Как-нибудь на лету», – ответил я. «Я не представляю себя старым... Вы действительно считаете, что до старости мне далеко?» Улыбка.

А эта парочка, нет, не та, слева от нас... Как вы думаете, они супруги или любовники? Нет, вы ошибаетесь. Они любовники, причем, свежие, недавно закрутившие роман. Между прочим, по статистике, семьдесят шесть процентов женатых мужчин и пятьдесят три процента замужних женщин изменяют своим супругам. Не верите? О, сейчас я расскажу вам любопытную историю об идеальном супруге, который превратил жизнь своей жены в ад. Водолаз, кстати, чем-то его напоминает. Однажды...

Каскад историй, которые оживали в моем воображении, я рассыпал блистательным фейерверком. Слушала она с восхищением. Последние лет десять я не встречал женщины, которой мне бы так хотелось понравиться. Оказывается, жизнь моя была довольно продолжительной, и я весь был набит историями и наблюдениями, словно чемодан не очень издаваемого писателя талантливыми рукописями.

– Хотите, я расскажу вам историю об одной даме, которая лет до сорока была убеждена в своей исключительной порядочности?

– А потом?

– А потом крупно удивила сама себя.

– Конечно, хочу, – сказала Маруся. – Мне очень нравится вас слушать. И обращайтесь, пожалуйста, ко мне на «ты».

– С удовольствием. Итак, звали нашу даму... По-моему ее звали Маруся.

Моя спутница слегка вспыхнула и улынулась, приоткрыв малиновые губы. У меня пересохло во рту. Что происходит?

– Надеюсь, я не утомил тебя, – галантно произнес я, когда пришло время прощаться.

– Мне еще никогда не было так интересно.

Предлагать следующее свидание мне было крайне неловко. Для меня существовал только один предлог: хотелось ее увидеть. Но не хотелось, чтобы она догадалась об этом.

– Вы обещали рассказать мне, почему вы рисуете мерзкие тени.

– Ты уверена, что тебе это будет интересно?

– Конечно.

– Тогда... завтра?

– Нет, завтра не могу. Через три дня вас устроит?

– Три дня в моем возрасте – это целая эпоха. Но я надеюсь дожить до того времени, когда вновь увижу тебя.

– Зачем вам видеть меня? – спросила она, не глядя в мою сторону.

– Это мой секрет. «Который мне самому не известен», – добавил я про себя.

3

Следующая наша встреча была посвящена теме «я и искусство», а также ее вариациям: «мое место в искусстве», «мое понимание искусства»; закончил я философским экспромтом «искусство понимания». Я относил себя к тем немногочисленным художникам, которые не просто умеют хорошо делать то, что они делают, но и задумываются над природой творчества. Кажется, мне удалось убедить в этом и Марусю. Она сказала, что я «большой оригинал» и «философ от живописи». Главным итогом наших бесед и всего своего творчества считаю то, что это помогло вызвать интерес Маруси ко мне.

Во время следующего свидания, которое (уже по традиции) маскировалось мною под занимательное общение, проходящее под рубрикой «как много в мире интересного и любопытного, достойного нашего просвещенного внимания», я рассказал Марусе о нескольких законах, автором которых считал себя. Не биномы Ньютона, конечно, даже не сомнительные формулы Эйнштейна, однако законы есть законы. Отменить их, по моим наблюдениям, не удалось еще никому. Попробуйте, может, у вас получится.

Закон первый, или Закон дороги гласит: стоит только на дороге с двусторонним движением появиться (на той стороне, по которой едешь ты) движущемуся или не движущемуся объекту, как-то: пьяному велосипедисту, нетрезвому пешеходу или же просто одинокой старушке, как тут же возникает встречный транспорт, и вы разминетесь с ним именно в той точке, где вы обгоняете этот самый нетвердо передвигающийся объект. Три участника дорожного движения

непременно выстраиваются в одну линию, напоминая своеобразный парад планет, чем сильно усложняют себе жизнь. Это опасный и коварный закон.

Объяснения этому закону нет никакого. Почему же я называю его законом? Да потому что он существует.

Закон второй – Закон дома. Если вам дали неточный адрес, а именно: неверно указали номер дома, причем ошиблись совершенно невинно, на какую-нибудь единичку, – то с вами непременно случится странная вещь. Вы никогда и ни за что не найдете тот дом, номер которого вам указали неверно и который необходим вам позарез и сию минуту. Вы потратите час – дом как в воду канул. Это мистика, но в то же время вполне реальная штука. Тут надо учесть, что вас не надували сознательно, не строили козни. Просто ошиблись, непреднамеренно и неумышленно. Однако дома-то вы не нашли. Вы ищите, тратите кучу времени и сил, но ваш дом, координаты которого не точны, но должны быть реальны, как сквозь землю провалился. Скажем, вы ищите дом номер сто семнадцать. Сто шестнадцать на месте, рядом – сто пятнадцать. Все логично и внушает оптимизм. А сто семнадцатого нет, и никто ничего не знает о его существовании. Вы ищите уже из чистого любопытства, забыв о деле, которое привело вас в злосчастный дом номер сто семнадцать. Бывает так, что судьба сжалится над вами и пошлет вам информированного прохожего, который случайно знает, что дом номер сто семнадцать еще не построен, или построен совершенно в другом месте.

Это гнусный закон, но неотвратимый.

Закон третий, имеющий отношение к красоте. Когда вы попадете в изумительно красивое место, вам непременно захочется лечь на землю и закрыть глаза.

– Зачем? – спросила Маруся. – Чтобы не видеть красоту?

– Законы можно трактовать по-разному. Я лишь утверждаю, что это законы. И они существуют.

Наконец, Закон звезды. Если ночью долго-долго смотреть на одиноко мерцающую звезду – обязательно заплачешь.

Оказывается, последний закон Марусе был известен, но мой приоритет в его открытии она не оспаривала. Я ведь обнаружил действие этого закона на тридцать лет раньше, чем Маруся.

К тому времени я уже понял, что привязывает меня к Марусе, а ее (не сомневался в этом) ко мне. Дело не в моих историях или в умении их рассказывать; дело в том, что мой взгляд на жизнь, мое ощущение жизни были ей близки. Мне же хотелось делиться с ней прожитым и пережитым потому, что она была мне близким человеком. С человеком нельзя сблизиться, можно только найти близкого тебе человека. Или не найти. Вот я ее и нашел. А внешность Маруси просто сводила меня с ума. Я ничего не говорил ей об этом, но смотрел на нее все продолжительнее.

– Не смотрите на меня так, – попросила она, быстро вспыхнув.

– Как «так»?

– Слишком откровенно.

– Разве? – искренне изумился я.

– Конечно, – просто подтвердила она. – Посмотрели бы вы на себя со стороны. Тут даже мне все ясно. Обратите внимание вон на того дядечку.

Дядечке было лет сорок, он был моложе меня лет на десять, хотя выглядел не намного свежее. Маруся переключила мое внимание на игру, которой мы с ней были заняты постоянно. Мы отыскивали в толпе людей или среди редких прохожих колоритные типажи и давали им характеристики. Обычно этим занимался я, а Маруся восторженно пританцовывала. «Прелесть какая!» – восклицала она, как будто я на ее глазах нарисовал портрет.

«Дядечку» выдавали глаза: они были пустыми и ложно значительными, словно у монаха, который догадывался, что пустил свою жизнь прахом, но изо всех цеплялся за выдуманный армией таких же, как он, бородачей бледный смысл.

Я сказал Марусе об этом, и она испустила тихий молитвенный вздох: «Какая прелесть!»

От ее вздохов и восклицаний на меня накатывала волна сладострастной истомы, мне хотелось схватить ее в охапку и зацеловать до одури. Голос у меня садился, появлялась низкая хрипотца, и я долго откашливался, гася предательские порывы.

– Теперь моя очередь, – сказала Маруся и нацелилась на добропорядочную гусыню, плывущую в окружении двух пышных дочерей, которые вели под руки облик своего славного будущего.

– Нет, – сказал я, – взгляни-ка направо.

Там стоял поджарый молодой человек в модных остроносых штиблетах а la Маленький Мук, стильно обтянутый в короткую курточку, идею которой Диор явно позаимствовал у Бура-тино. Он нагло провожал нас глазами, подленько улыбаясь. Был он моложе меня на добрых тридцать лет.

– Золотой мальчик, – равнодушно отмахнулась Маруся. – Этого добра сегодня сколько угодно. Модные тусовки, ди джей Скунц, бокал мартини, заднее сиденье папашиного БМВ...

– Откуда ты все это знаешь?

Досадный укол ревности достал меня куда-то в левый бок. Я ревновал ее ко всему ее поколению, ко всем тридцатилетним, и даже сорокалетним успешным мужикам. Это была ревность, очень напоминавшая грусть от сознания уходящей жизни.

– У меня же есть подружки, которые встречаются с такими мальчиками, да и дискотеки я посещаю. Я же не монашенка.

– Тебе неловко идти рядом со мной?

– Отчего же?

– Оттого, что я возрастом своим компрометирую тебя.

– Мы не делаем ничего плохого. Разве я не могу гулять с человеком, которому пятьдесят лет?

– Не можешь. Ты мне нравишься. Очень. Боюсь, что я влюбился в тебя.

– Что вы такое говорите? – лепетала она, не в силах справиться с густым румянцем. Этот румянец делал ее девчонкой.

– Я говорю ужасные вещи, – сказал я.

– Конечно, ужасные. А как же ваша жена?

Я пожал плечами.

– При чем здесь жена?

– Как при чем? Ведь это предательство.

– Нет, это просто попытка измены. Точнее, легкомысленная склонность к супружеской неверности.

– Кошмар. Это как-то не вяжется с вашим светлым обликом.

– А вот светлый облик – это тонко подмечено. Браво. Отдельное спасибо.

Она возмущалась с легкой улыбкой на губах – но при этом несомненно возмущалась. Я отчего-то испытал чувство необыкновенного подъема.

– Можно, я спрошу у тебя о том, о чем вчера мне страшно было подумать?

– Это не заставит меня краснеть?

– Когда ты краснеешь, выглядишь просто очаровательно. Тебе это идет.

Она залилась здоровым румянцем, будто прошла по морозцу.

– Я спрашиваю. Ты готова услышать мой вопрос? Спрашиваю. А я тебе нравлюсь? Вообще, какие чувства ты испытываешь ко мне?

Маруся задумалась.

– Я испытываю к вам самые лучшие чувства. Но, мне кажется, между нами не может быть любви.

Последнее слово она выговорила с легкой запинкой.

– Ты уже думала об этом?

Она кивнула:

– Не специально. Оно само думалось.

Некоторое время мы шли молча. Наконец она сформулировала:

– Вы все меньше и меньше вписываетесь в мои представления об идеальном муже, но нравитесь при этом все больше и больше...

– Ангел мой! – воскликнул я, неизвестно чем окрыленный. – Разве идеальный муж может быть идеалом женщины? Идеальный муж ограничен рамками семьи, живет исключительно ее интересами, окруженный выводком...

Тут я скопировал походку гусыни и постные физиономии ее перезревающих дочурок. Беглая улыбка Маруси подтвердила, что я исполнил шарж блистательно. После чего невозможно, и в то же время с пафосом (очень сложная интонация!) продолжил:

– Я же – гражданин Вселенной, мое амплуа – идеальный мужчина. Чем старше идеальный мужчина, тем более он соответствует номинации идеальный муж. И наоборот. Поэтому я считаю, что тебе просто повезло: в твои-то двадцать встретить всего-навсего пятидесятилетнего...

– Я просто счастлива, – промолвила моя радость, заливаясь тихим смехом.

– Иронии, на мой вкус, многовато, – сказал я тоном директора гимназии для девочек.

– Хорошо: вы мой герой. Исключительный мужчина.

– Уже лучше.

Теперь я был глупым самцом Бельмондо.

– Настолько исключительный, что явно не для меня, простой смертной.

– Зачем же так горячиться? От исключительной женщины слышу.

– Нет, я куда более заурядна, чем вы. К сожалению.

– К счастью, я знаю тебе цену. Женщина, которая питает ко мне слабость, не может быть недостойной особью. У тебя только один крупный недостаток: твоя дурацкая молодость. Но этот недостаток, поверь мне, исключительно быстро проходит.

– С вами трудно сохранить рассудок.

– Честно говоря, меня сейчас гораздо более интересует другое, сохранившееся в неприкосновенности место, а именно...

– Не надо. Об этом забудьте.

При этом она даже не покраснела! Считать, будто она не поняла моего намека, было бы наивно. Однако степень ее невинности осталась для меня загадкой.

– Уже забыл.

– Забудьте. И не мечтайте. Этого не будет никогда. Никогда.

– Да я уже смирился с этим. Мне только интересно...

И тут я сказал ей на ухо одну из тех вещей, что звучат дерзко, напористо и уместно, резко сближая мужчину и женщину, а на бумаге выглядят жалким пижонством и пошлостью. Словом, милые глупости. Тут все дело в интонации. Я не могу написанным словом передать интонацию, а далеко не каждый читатель сможет с нужной долей самоуверенности и одновременно иронии произнести простые слова, которые в умелых устах становятся золотыми.

Дыхание у Маруси сбилось. Теперь я должен был помочь выбраться ей из этого деликатного положения, в которое я же ее и загнал.

– Однако... – сказала она, чтобы что-то сказать.

– Ты ведь не уйдешь сейчас?

Я был сама галантность.

– Я должна это сделать.

- Но не сделаешь, не так ли?
- Не сделаю. И потом буду об этом жалеть.
- Дай руку.
- Не дам.
- Я взял ее руку – она вцепилась в нее своими холодными пальцами.
- Что происходит? – спросил я то ли ее, то ли себя.
- Не знаю, – растерянно ответила она за нас двоих.

Мне нравилась в ней эта первобытная честность. В эту минуту она казалась мне девочкой, которая играет с огнем и искренне верит в то, что ничего плохого с ней не случится. Я же верил только в свой опыт и понимание жизни. Что-то подсказывало мне, что наши чистые отношения не могут кончиться добром. У людей так бывает только в сказках. А сказка – ложь.

4

Дома я отказался от ужина и не находил себе места. Мне чего-то хотелось, какое-то смутное желание томило меня, но вот какое – понять не мог. Природа моего томления была, так сказать, плана творческого. Мне необходимо было что-то уяснить себе. Перед мысленным взором стоял какой-то серый туман, в котором бесформенными очертаниями ворочались смутные рельефы и контуры. Я удалился в рабочий кабинет. Мучительная немота толкнула меня к бумаге, но из меня, вопреки ожиданиям, полились слова, а не линии.

Я зафиксировал цепочку важных для меня мыслей, сотворил род дневниковой записи, из которой потом родился замысел моей повести. Она закончена, вы ее сейчас читаете и, возможно, получаете удовольствие, если обзавелись привычкой анализировать свои чувства – привычкой, достаточно редкой для людей. Но в тот момент меня душила немота, и я боролся с собой, рождая смыслы, преодолевая сумбур (не всегда удачно, надо сказать). Вот эта запись, сохраненная для истории в том виде, в каком она родилась: без ретуши и лакировки.

«Иногда светлые, высокие чувства разрушают человека, если они приходят в противоречие с другими светлыми и высокими чувствами. С другой стороны, высший человеческий пилотаж заключается в том, чтобы получать удовольствие от высоких чувств, даже если они и запретны.

Непосредственное отношение всегда честно, самодостаточно, всегда «как в первый раз». Непосредственное отношение безупречно. Это отношение одного субъекта (личности) к другому (другой). Упрекать за произвольно возникшие чувства по меньшей мере глупо. Но если это отношение, само по себе светлое и чистое, включается в контекст уже существующих устоявшихся отношений субъекта с социумом, возникает «странная» (по человеческим меркам, то есть по меркам социума) ситуация. Например. Представим себе такой расклад: всеми уважаемый, ответственный мужчина пятидесяти лет – а главное, отличный семьянин! – влюбляется в девушку двадцати лет. Всех можно понять – однако налицо странная ситуация. До любви человек был порядочным и положительным; как только он полюбил другую (хотя все вокруг только и твердят, что сердцу не прикажешь, любовь нечаянно нагрянет и т. д.) – его хочется уважать гораздо меньше. Он словно совершил нечто недозволенное. Оказывается, для общества любовь хороша не сама по себе и не всякая любовь, а только та любовь, которая приводит к браку, к созданию ячейки общества. Любовь должна служить обществу, укрепляя его структуру. Как только любовь начинает угрожать существованию семьи, этой стабилизирующей ячейки общества, это чувство становится «странным», подозрительным и гонимым. Порядочный человек начинает сопротивляться своему чувству как сознательный член общества, хотя как нормальный, слабый человек он боготворит свою любовь. Смотрите, что происходит: светлые чувства начинают как бы угнетать, ломать человека, ибо явно коренятся в области

табу. Свобода человека и благо общества – приходят в противоречие. Человек, образцово воспитанный образцовым обществом, становится злейшим врагом себе. Как быть?

Следует признать, что нарушение табу, то есть реализация права на любовь, обогащает человека. Именно это я хочу сказать и настаиваю на этом. Но нарушать табу не всякому дано: это может и погубить человека, если он слишком сознательный, слишком сильно интегрирован в систему жестких социальных регламентов. А здесь зависимость такая: чем более обезличен человек – тем более он «сознательный»; чем более умен – тем менее «сознателен». Человек становится врагом самому себе: врагом своей личной свободы, своих чувств, которые делают его жизнь содержательной, врагом всего, что не одобряется обществом. Человек, который становится врагом себе, – это герой, замечательный человек. В человеке, состоящем из двух персон, сражаются герой и свободная личность. Это кровавая битва, из которой живым можно выбраться только тому, в ком одно начало явно преобладает над другим. А если человек силен, если в нем в значительной степени развиты «героизм» и «свободолюбие»?

Это беда. Здесь зависимость такая: чем сильнее человек – тем меньше шансов у него выжить. Это формула беды, отражающая закон жизни: все чтут сильных и неординарных, преклоняются перед ними, но никогда не простят им того, что они осмелились стать выше других. Кого уважают – тех и будут пинать ничтожества, не способные уважать сами себя.

Есть и еще один закон жизни: за счастье надо платить смертью. Этот закон отражает неизвестно кем внедренную в жизнь меру гармонии: или все, но сразу, или ничего, но постепенно. Если все и постепенно – то это как-то не по-человечески. Это по-божески. Такое впечатление, что этот закон родился из всеобщего чувства справедливости (и зависти, добавим справедливости ради). Этот общественный закон, спущенный нам с небес, – способ покарать тех, кто стремится прожить яркую жизнь, постепенно получить все. Вот почему свободный человек опутан законами.

Вывод из этой странной ситуации, в которую загнала человека культура, также будет странным: обогащаться способна только внутренняя жизнь свободного человека. Хороший человек, если это социальный результат, а не тенденция, становится тормозом на пути обогащения собственного внутреннего мира, на пути превращения себя в свободную личность. Он предает себя. Он меняет палитру чувств на два-три скучных, блеклых, но устойчивых тона. Он начинает ненавидеть яркие краски. Хороший, образцовый человек – вот угроза жизни и творчеству. Завидуют и уничтожают из зависти только хорошие люди и только из лучших побуждений. Кого уничтожают? Счастливых. Лучших из лучших.

Хороший человек, способный к развитию и обогащению (лучший!), то есть к дерзкому нарушению табу, – это всегда грустная история, история преодоления себя, история прорыва к свободе, ибо перспектива запретных, табуируемых обществом отношений всегда одна: скорая гибель. Тебя покарают главные враги человека – его ближние. Хорошие люди, от которых никуда не скрыться. Из лучших побуждений. Это игра в жизнь, которая заканчивается игрой в смерть, – игра, где циклы предельно сжаты. Жизнь кипит. Смерть подстерегает».

Утром я вышел на улицу, взглянул на небо – и обомлел. Низкие, косматые тучи стелились и напозлали, словно дым небывалого пожара. Это были не тучи – а ползущее ощущение тревоги, образ надвигающейся опасности, предчувствие грядущей беды. Я вернулся в квартиру (плохая примета!), схватил в руки кисть и мгновенно зафиксировал этот образ, который терзал меня, но не давался в руки. В душе словно освободилось место, и мне стало гораздо легче. Пейзаж получился отменным: давно я так не работал с цветом, давно я с таким успехом не воплощал на холсте то, что ощущал почти физически. Вся моя картина состояла из полутонов, переходящих друг в друга. Мучительные полутона оказались подвластны мне.

Обострение чувств и интеллекта было налицо. Я обретал свою позабытую форму. Что случилось? Вопрос риторический, однако подразумеваемый ответ не снимал вопроса с

повестки дня. Моя жизнь шла отныне в режиме «что-то случилось». И радостно, и тревожно; холодок в душе сменял некоторую горячую взвинченность.

В отношениях с Марусей этап эйфории сменился этапом нежной задумчивости. Я говорил с ней на языке умудренного опытом мужчины, за плечами которого – полвека; Маруся, мне кажется, понимала меня.

– Странно... Чем бы ни кончились наши отношения, мы все равно потеряем что-то важное и невозполнимое. Расстанемся – потеряем, останемся вместе – потеряем еще больше, – сказал я.

Мы сидели в парке и наслаждались свежими тонами, насыщенным цветом и прозрачностью холодного лета.

– И если бы мы не встретились – тоже много бы потеряли, – то ли возразила, то ли поддерживала меня Маруся.

– Да, да, да... Все это означает: нам есть что терять.

– Что же? – спросила Маруся.

Очевидно, в душе ее также происходило нечто смутное.

– Нам ведь хорошо вдвоем?

– Да как сказать... Сверху тепло, снизу холодно...

– Вот это и есть хорошо. Вот это и жалко терять.

– А лучше не бывает?

– Бывает по-другому. Но это не со мной. Это у тебя будет с другими. Я, кажется, говорил уже тебе, что я ревную тебя к нескольким поколениям мужчин.

– Говорили. Меня ревновать глупо. Я могу принадлежать только одному мужчине. Я не способна изменять. А можно сохранить то, что у нас есть сейчас?

– Конечно. Надо только развивать наши отношения. Сохранять – значит, развивать.

Моя рука лежала у нее на бедре.

– И что потом?

Она ждала, что я сию минуту предложу на выбор сразу три выхода из этого тупика, который называется «пятьдесят лет + жена + нежелание быть молодым + любовь к Марусе + ее двадцать + куча вещей, с которыми мне комфортно в пятьдесят, но которые исключают саму возможность быть с Марусей...»

– Потом – суп с котом.

– Это ответ? – серьезно спросила Маруся.

– Ответ, – с долей шутливой интонации ответил я. – Переводится так. Расстанемся – потеряем то, что важно и необходимо обоим; будем развивать и оформлять наш союз – потеряем будущее. Остается одно: быть вместе, но не держаться за союз. Жить одним днем. Наше будущее – это настоящее.

– Я к этому не готова, если это зрелый подход к нашей ситуации. Я проста и наивна: мне надо или все – или ничего.

– Я знаю. К сожалению, ты права. Ты мне такая и нужна. Вот эти светотени и называются зарей великолепной старости.

Я смотрел на солнечные блики, тепло скользящие по густой зеленой траве. Кажется, на сей раз Маруся не вполне уловила мою мысль, если нечто похожее на мысль присутствовало в моей тихой реплике.

5

Мои чувства к Марусе собрались в удивительно терпкий букет: в нем можно было обнаружить восторг и ужас, смешанные с трезвым пониманием бесперспективности наших отношений; ее удивительное целомудрие чудесно уживалось с моим беспредельным цинизмом и

вовсе не корбило его, в результате даже цинизм мой приобрел облагороженные формы (чего я от себя не ожидал). Прибавьте сюда мою любовь к Марусе – и пронзительное ощущение неуместности этого чувства, становящегося опасным и тяжелым, если оно связывает людей, которые не могут быть вместе. Огромная разница в возрасте казалась мне чудовищной нелепостью, чьим-то грубым, бездарным просчетом, из-за чего я испытывал почти физическое чувство неловкости, почти вины. Потрясающий букетик.

Я разделял с ней ответственность за то, что происходило в ее сердце. Она же была полностью дезориентирована. Она понимала, что у нас нет будущего, но ее влекло ко мне, хотя она честно, без кокетства сопротивлялась. И, в отличие от меня, испытывала глубокое, мучительное чувство вины: я ведь принадлежал не ей.

С каких это пор я стал таким человековедом по женской части?

С тех пор как прочитал ее дневник. Случайно. Я не собираюсь ничего цитировать; скажу только, что отдельные места тронули меня настолько, что в душе моей обнажились по-детски незащищенные оазисы. Пятидесятилетний мужик, оказывается, запросто может превратиться в сопливого ребенка, если вовремя не перекрыть фонтан эмоций. Я убежден: давать волю чувствам – это не благо, а слабость. Надо защищать себя от себя и оберегать от себя других. Быть искренним в ситуации, когда твоя искренность может завести только в тупик, значит, проявить слабость и жестокость по отношению к человеку, который принимает твою искренность за желание выбраться из тупика. А быть в этой ситуации жестоким по отношению к себе – значит, быть честным и добрым по отношению к человеку, которого ты любишь. Перед таким выбором поставила меня жизнь.

Именно в этот момент мне захотелось писать свежие пейзажи холодного лета.

Эти простые и немудреные пейзажи странным образом помогли мне разобраться в моей проблеме. Почему? В этом тоже надо разобраться. Я долго выхаживал по берегу озера (специально выезжал за город), не приступая к работе. Я впитывал в себя простые впечатления, которые постепенно заворачивались в сложнейший и тугой узел, и простодушное чувство умиления незаметно сменялось глухим раздражением.

Огромное озеро искрилось холодными бликами на мелкой волне, вызывая желание подмигивать и улыбаться. Чистенько, без фальши попискивал скворец. Сосны, украшенные молоденькими шишечками в желтой пылице, тянулись крепким бором вдоль берега, образуя мирную гармонию именно тем, что ограничивали простор. Прозрачный воздух, прохладный упругий ветерок. Простая симфония простыми аккордами звенела в душе. И все было бы хорошо, не будь я художником. Я ложился на спину и закрывал глаза.

Переживание настоящей красоты всегда мучительно. Я вышел на луг, продуманно убранный неброскими цветочками: дикой гвоздичкой, с мелкими аккуратно вырезанными лепестками невыразимо бордового развода, ярко желтыми нежнейшего оттенка кружочками одуванчиков, голубыми колокольчиками, сочным фиолетовым люпином и еще какой-то диковатой травкой, плотным узорчатым ковром устилавшей луг. Кое-где, довершая небывалое совершенство, щетинились колючие пучки травки-ежика. Я остановился, изумленный, и настроение мое сразу испортилось. Как написать всю эту неброскую, но несомненно растворенную вокруг красоту? Я знал по опыту, что писать такие «безыскусные» пейзажи, просто «собрать букет», уже подаренный тебе кем-то, – истинная мука, задача фантастической сложности. Кто-то словно бросает тебе вызов, навязывает состязание, и уклониться от него невозможно. Если ты художник – ты обязательно захочешь это написать. Откажешься писать – погибнешь как художник. Никогда себе этого не простишь. Этот закон называется испытание букетом. Но вот удастся выразить невыразимое далеко не всем. Я больше скажу. Если вам удастся написать такой вот живой лужок при ярком солнце и прозрачном воздухе, когда вы видите, что он невидим, – вы навсегда останетесь в истории живописи. И тут не настроение, даже не мастерство решают все. Для такой удачи необходимо совпадение множества условий. Их даже определить сложно.

Попробую. Неправда, будто ум мешает художнику; гениальному пачкуну – мешает, великому художнику ум помогает. Такую красоту сначала нужно «понять», ухватить ее разумом, что ли (не чувствами, это точно), и только потом дать волю чувствам и фантазии. Только такая метода может привести к небывалому успеху. Для того чтобы оценить это, надо правильно и долго пожить. Ладно, скажу прямо: если бы я не испытал губительного и преступного чувства к Марусе, оживившего меня, – я бы не взялся писать этот проклятый луг.

Я сразу понял, что это мой шанс. Секрет красоты был мне вполне по силам. Я чувствовал, что могу сделать невозможное. Не рассуждая, бросился я к мольберту и тут же принялся за картину. Все получилось с первой попытки. Неправда, будто мука художника – это часы и часы мазни. Муки творчества, муки постижения мастерства – это сладкая каторга, и не надо делать вид, будто это самое страшное для художника. Настоящая мука, о которой не принято говорить вслух, – это страх неудачи, замешанный на проклятье показаться ничтожеством в собственных глазах. Мука гения состоит из страха перед реальной возможностью раз и навсегда перестать верить в себя. После такой неудачи можно всю оставшуюся жизнь так и не взять кисть в руки. Со мной так и произошло. Мне не удалось выразить образ или «идею» тени, всего лишь тени, которую я хотел видеть изнанкой всего сущего. Я был не готов к шедевру в тот момент – или я не был рожден для шедевра?

Эта попытка много значила для меня. Луг оживал под моей кистью, причем, совсем не тот луг, который я видел только что и который во всей красе стоял у меня перед глазами. Я писал и не луг вовсе, а «букет», образ неуловимой красоты, которая не дается в руки человеку, дразнит его, сводит с ума, заставляет делать глупости, жить и умирать. И вот я, Оскар Малахов, укротил красоту, покорил нетленную и эфемерную стихию. Какое отношение этот луг имел к моей любви к Марусе? Не знаю. Но любовь, давшая мне редкий опыт чувств, помогла мне его написать. В тот момент я готов был заплатить за свой шедевр любую цену. Любую, не торгуясь. Жестокость этой сделки я осознал некоторое время спустя.

А пока что я расслабленно растянулся возле мольберта и закрыл глаза.

6

Как видите, в моей правдивой повести до сих пор не происходило никаких событий. Но я не помню в своей жизни периода более насыщенного и, так сказать, событийного, нежели только что описанный. Главное – это то, что происходит с нами, когда происходит внутри нас. Мы меняемся, если способны меняться: вот главное.

Однако стоит только зашевелиться чему-то «в душе», как, по закону сцепления всего со всем, это становится причиной внешних событий, – которые, в свою очередь, дают толчок душевной сумятице. Что чему начало и что есть следствие-причина – это вечная загадка жизни.

Все началось очень невинно.

– Почему я вам нравлюсь? Что вы разглядели во мне? – спросила меня Маруса, когда мы гуляли с ней по набережной.

Раньше я как-то не замечал, что неброское может быть ярким, а теперь просто задыхался от яркости и выразительности того, что годами скользило перед взором, навеяв едва ли не уныние своей обыденностью. Стальной, переливчатый цвет воды – и у меня перехватывало дыхание от силы образа. Если долго ходить вдоль берега Свислочи (а это и был наш излюбленный маршрут: куда река выведет), то цвет воды на ваших глазах меняется по многу раз в день. К вечеру (наше излюбленное время) светлая лазурь небес опрокидывается в речку, заполняя ее ровно до середины; другая половина водной глади, также подражая небесам, окрашивается бледной копией того цвета, который я называю «красная ночь». Застывшую, словно холст, гладь реки хотелось сложить пополам – по линии, разделяющей цвета, завернуть и унести с собой.

Аккуратно подстриженная трава, обнаженная до бледной зелени, – и это целое настроение. А небо?

Белые облака мягко кучерявились, словно мохнатые подбрюшья огромных космических котов, лениво парящих над изумленным миром и дрейфующих в неведомые края. Мы завидовали котам и махали им вслед руками, складывая их лапками.

Иногда легкомысленные облака своими округлыми вспученными формами напоминали беспечные ядерные взрывы. Грибовидные массы со светоносными пластами причудливо наслаивались друг на друга, порождая цепную реакцию веселых пушечных залпов. Небывалый беззвучный салют приветствовал нас. Видимо, игривые кружевные грибки для природы не приобрели никакого катастрофического смысла. Гриб, пусть себе и ядерный, – всего лишь известное природное явление. Ничего сверхъестественного. Нам нравились грибы.

– Что я разглядел в тебе? – переспросил я, абсолютно неприлично обводя ее глазами. – В тебе нет ничего особенного. Но когда я смотрю на тебя, мне всегда приходит в голову одно и то же: женские ноги должны быть именно такими, как у тебя, грудь – именно таких размеров, роскошная задница...

– Вы забыли, что я невинна.

– Ах, да, увлекся. Кстати, о твоей невинности. Ты еще не была с мужчиной?

– Представьте себе – нет. Я даже не целовалась как следует.

– Значит, сейчас будет первый поцелуй?

– Сейчас ничего не будет.

Однако губы наши слились, медленно и неотвратно.

– Кошмар, – пробормотала Маруся. – Я чувствую себя преступницей. Но мне еще никогда не было так хорошо.

– Сейчас будет еще лучше. Немного сомкни губы.

Она сделала именно то, о чем я просил, и поцелуи стали «держаться», стали длительными и влажными. Маруся не на шутку заволновалась, а я просто потерял голову.

– Нет, нет, – говорила она, хотя я ни о чем ее не просил.

– Да, – неизвестно на чем настаивал я.

Какое-то время понадобилось нам, чтобы прийти в себя. Мы помолчали.

– Если бы у меня не было жены, я бы сказал, что люблю тебя. Но поскольку я не должен этого говорить, я скажу так: мне все труднее и труднее жить без тебя.

– Звучит не очень весело, – улыбнулась Маруся.

– Да, невесело. Придешь завтра ко мне?

– Это невозможно.

– Мы уже столько раз перешагнули через невозможное...

– Это совсем, совершенно невозможно.

Я закрыл ей рот поцелуем и одновременно развел рукой бедра.

Маруся вскочила и, ни слова не говоря, медленно двинулась вдоль набережной, давая мне возможность настичь ее и крепко обнять за талию.

– Так почему вы рисуете мерзкие тени? Вы мне так и не объяснили.

– Теперь мне очень просто объяснить тебе это. Если ты придешь ко мне, я покажу тебе одну картину. И ты все поймешь.

– Как называется картина?

– Не знаю. Там изображен пестрый луг. Но я бы назвал картину «Любовь» или «Преодоление смерти». Что-нибудь в таком духе. Из пестроты рождается симфония, из немыслимых сочетаний творится гармония... Это глупо объяснять. Там я справился с тенью. Придешь?

– Вы прельщаете меня «Любовью», милый Малахов? Это жестоко. Обещайте мне, что вы не будете позволять себе...

– Как ты могла подумать такое! – возмутился я и нежно привлек к себе ее губы. Поцелуй был сладким, словно ощущение славно прожитой жизни. Маруся не сопротивлялась.

Она пришла – и это было единственное, что я мог предсказать в тот вечер. Все остальное, случившееся с нами, было неправдоподобно и несбыточно. Как описать реальность нереального?

Приходилось ли вам испытывать странное, потрясающее чувство: на ваших глазах сбываются ваши мечты? Первое впечатление такое: вас или обокрали – или крупно вам недодали. Словом, бедность, невыразительность счастья неприятно поражает. Проходит час – и до вас вдруг доходит: с вами случилось то, что вы считали и считаете полным и невозможным счастьем. Через два часа вы понимаете, что вам больше нечего пожелать. Вдумайтесь: нет ничего такого в целом мире, что отвлекало бы вас от вашего счастья, что могло бы увеличить его. Только здесь и сейчас, и больше ничего не надо. Остановись, мгновенье. Это ведь больше, чем любовь. Страшно только из-за того, что этого могло не произойти. Через три часа эмоции раскалены настолько, что слезы выступают на глаза по всякому поводу. То, что казалось бедным и невыразительным, начинает сверкать и переливаться тропической густотой красок. Через сутки вы уже не знаете, куда вам деваться от боли. Боюсь, слова бессильны...

Маруся отдалась мне в тот момент, когда увидела мой пестрый луг. Все дальнейшее было неторопливым слиянием наших тел. Боже мой, я уже забыл, что значит быть наедине с любимой женщиной. У меня было много женщин, я не утратил вкуса к молодому женскому телу. Но тело любимой женщины... Сказать, что я обезумел, было бы не вполне точно. Я красиво и последовательно сходил с ума. Любое прикосновение к телу Маруси доставляло мне жгучее наслаждение. Я перецеловал ее всю, от бровей до пят. Вот оно, преимущество пятидесяти лет: я совершенно точно знал, что мне надо; мне было с чем сравнивать, я ни секунды не сомневался, что обладаю лучшей женщиной в своей жизни. В двадцать лет подобное чувство невозможно. Все еще впереди, все еще только начинается... А я знал, что лучше никогда уже не будет, нет никакого впереди. Есть только Маруся, есть только я, пока еще не старик, который никогда уже не будет моложе, чем есть он сейчас. Только старше, только хуже. Будущее может быть только отобранным настоящим. Ничего другого.

Наверно, Маруся не сопротивлялась. Она едва ли что-либо соображала. Прошел час, второй, третий. Мы почти не разговаривали. Думаю, она была потрясена. Я припадал губами к ее нежной розовой плоти, и мы проваливались в небытие, то есть в такое бытие, где реальностью было только тихое шуршание счастья. Время исчезло, пространство не имело значения. Я крепко обнимал ее, и мы оставались один на один с вечностью. Потом происходила серия всплесков, горизонт лучезарно взрывался и пропадал, истаявая в мягкой темноте, и мы медленно приходили в себя, отыскивая блестящими глазами опавшие лица друг друга. Странно: мне даже в голову не пришло говорить о любви. Не сомневаюсь, это было бы фальшью. Тут речь шла уже не о любви. И мне стало страшно.

Тело моей Маруси, ее движения, ее трепетное дыхание слились для меня в облик одной-единственной женщины. Казалось, у меня никого не было до нее. Ее запах, ее ритм, ее ласки были такими родными, что я не замечал их особенностей. Я только чувствовал, что мне всегда этого не хватало. Ее целомудрие, ее сдержанность, ее многообещающая неприступность переплавились в здоровую легкую страсть, возбуждавшую меня до самой бестелесности.

После того, как силы оставили нас, мы уснули, обвивая руками тела друг друга. Пробуждение было таким легким и радостным, что я почти физически ощутил боль, которая, по моим наблюдениям, всегда бывает равносильной эйфории. Мне всегда приходилось за все расплачиваться в жизни, и взлеты давно перестали радовать меня, ибо они определяли глубину падения. Вот она, каторга пятидесятилетнего: опыт портит все. Блаженство является предвкушением неизбежной расплаты, взлет воспринимается как высота падения. Как же идиотски устроена жизнь! Зачем же я так цеплялся за нее?

Утро было без раздумий отдано любви. Потом Марусе надо было идти.
Через три часа после ее ухода ко мне пришла боль. Настоящая боль в области сердца.

7

Куда могли развиваться наши отношения – трудно было сказать. Однако после этой ночи наши ведущие в тупик отношения окрасились в преступный цвет надежды. Помимо нашей воли. При всей грядущей и сущей безнадеге мы попали под очарование удивительно глупого чувства – открытости финала. Все ясно, никаких иллюзий, и вдруг появляется надежда, что может быть и не так, как должно быть со стопроцентной долей вероятности. Оторви нас в тот момент друг от друга – и мы могли просто физически засохнуть. Вот отчего нам необходима была надежда, хоть на какое-то время. Мы не скрывали друг от друга, что делаем глупость, что у нас нет будущего, и при этом улыбались, держась за руки. Детский сад.

Но тешить себя надеждами можно в двадцать лет. Чувство открытости финала злило меня, как, наверно, злит и дразнит опытного путника в пустыне ускользающий мираж. Нельзя было поддаваться этому завораживающему и губительному ощущению. А на трезвый и решительный шаг не было сил.

Но иногда ни о чем не надо беспокоиться. Все устроят за вас – и в лучшем виде. Для отбившихся от рук счастливцев у судьбы всегда припасено несколько взбадривающих и отрезвляющих пилюль. Природа, как известно, не терпит пустоты. Что я имею в виду в данном случае?

Беременность. После первой же нашей ночи у Маруси наступила беременность.

Наша жизнь, исковерканная счастьем, сорвалась и покатилась под откос. Было не разобрать, то ли она сломана, наша жизнь, то ли выстраивается заново. Мне предстояло объяснение с женой, которое я, не привыкший обманывать себя, называл не иначе как избиением или истреблением младенцев. Нет-нет, речь шла не о Марусиной беременности, а о младенческом неведении моей жены, о ее неготовности увидеть жизнь с этой стороны. Я был для нее гарантом здравого смысла, честности и справедливости. Я служил опорой, был качеством и свойством мира. Мир был таким, потому что в нем был я. Меня это устраивало, даже где-то льстило моему умению так привязывать к себе людей, и я сам приложил немало усилий к тому, чтобы жена оказалась человеком беспомощным. И вот теперь мне предстояло задушить ее собственными руками.

Теперь я проклинал всякую ложь, особенно ложь во спасение. Если бы жена знала меня таким, каким я был на самом деле, мне не пришлось бы исполнять роль палача. А палачом я должен был стать непременно. Было две жертвы, или даже четыре, если считать моего сына и еще не родившегося ребенка.

В тот момент я забыл, что жена не смогла бы жить со мной настоящим, не приукрашенным слепка, и никто бы не смог, даже я сам, поэтому я и прикидывался другим. Когда это началось?

Я с чистой совестью стал казаться не тем, кем я был на самом деле, очень давно. Сейчас даже и не вспомнить. Я очень рано и счастливо открыл для себя закон взрослых: быть самим собой – неприлично и невозможно. Это табу. Очень быстро и прочно я усвоил главный принцип бытия, который заключался в том, что все почему-то должны обитать одновременно в двух разных мирах: в условном, который видят все, и за поведение в котором тебе выставляют безусловные оценки, и безусловном, своем, личном, где втайне удивляешься идиотизму мира условного. Я позволил себе посмеяться над дамой, похожей на бульдога – и на меня тотчас спустили собаку. В сущности, собака здесь не при чем; это дама покусала меня. За что? За то, что я позволил себе быть самим собой. И дело даже не в том, что у меня был свой особый, скрываемый ото всех мир. У каждого есть свой мир. Это еще не преступление. Дело в том, что

я очень быстро сообразил, что такие, как я настоящий, на этом свете не живут. Им просто не позволят жить по своим правилам, не позволят смеяться над другими. Вот почему я делал вид, что мне нравится манная каша, арифметика и пионерский лагерь. Мне «нравились» классная руководительница и равнодушный ко мне отчим. Я скрывал, что обожаю краски, и скучным тоном просил купить акварель «на нужды класса». Отчим злился, я делал вид, что понимаю его гнев. По-другому выжить было нельзя.

Потом я научился делать вид, что выдуманное сочетание красок – это великое искусство, а великое искусство – это коммерческий успех. Я научился делать вид, что уважаю почтенную публику и очень ценю ее мнение, хотя на самом деле презирал и то, и другое.

И вот теперь по правилам этого мира я не должен был любить Марусю. Это было неприлично. Я должен был сделать вид, что испытываю к ней нежные отеческие чувства, которых мне недодали в детстве. «Ты не забыла надеть варежки? Надень штанишки: девочкам вреден холод».

Я смотрел на Марусю и думал: мог ли бы я прожить другую жизнь, в которой я был бы самым собой? Можно ли отменить закон, предписывающий жить одновременно в двух мирах?

Жена выслушала меня с холодной вежливостью. Переспросила, правильно ли она поняла, что я собираюсь от нее уходить. К другой, правильно? Я подтвердил, что с большим сожалением вынужден это сделать. Ребенок? При чем здесь чужой ребенок? Я ответил, что это мой ребенок. После этого жена пообещала, что покончит жизнь самоубийством и достанет меня даже на том свете, даже если ради этого ей придется спуститься в ад. Я был тронут такой преданностью. Впервые в жизни мне показалось, что я недооценил степени жизнеспособности своей родной жены. Мне даже показалось, что она давно догадывалась, кто я есть на самом деле. Может, не догадывалась, но все же была готова к тому, что я могу оказаться живым и сложным человеком.

Боюсь, что и она давно жила в двух мирах. Мне было в жесткой форме указано на то, что у всех случается «седина в бороду – бес в ребро». Для художника – это норма. Случается – и проходит. Это закон. Надо возвратиться к жизни, которая струится в режиме «ничего не случилось и случиться не может». И все забыть. «Так надо. Так живут все». Последние слова жена повторила, как заклинание, как цитату из книги, которая священна для всех людей, и потому правота ее не подлежит сомнению.

8

С какого-то времени меня не покидало ощущение, что я не просто живу, не просто решаю свои, человечьи, проблемы, но при этом сражаюсь с Кем-то или Чем-то невидимым, опутавшим меня паутиной дурацких законов, священных для кого-то обязательств, железных принципов. Все эти правила были направлены против меня, но как-то легко не замечались другими. Тут был тоже какой-то закон, но мне не хотелось формулировать его – и тем самым закабалить себя еще больше. Я и так был за решеткой.

Существовал какой-то невидимый, неосязаемый и негласный, но несомненный заговор против меня, против моего права быть самым собой. Я что-то нарушал, переходил какую-то грань – становился преступником. Все это было как-то связано с Марусей. Не только с ней, конечно, однако в первую очередь с ней.

Во мне все больше и больше вскипала и нарастала волна сопротивления. Мне предлагалось как приличному человеку стыдиться своей любви, прятать глаза, чувствовать себя виноватым. Мне же хотелось возражать все громче и громче, и все выше поднимать голову, чтобы оттуда, с высоты, наплевать на их книгу.

Я не просто любил Марусю, я незаметно для себя втянулся в сражение за свободу человека. На каком-то этапе меня пронзило волшебное и гибельное чувство: ощущение, что мне

нечего терять. Я был опьянен чувством свободы. В такой момент человек становится неужим: он готов либо победить, либо умереть. Это страшная решимость, потому что она делает человека уязвимым и нежизнеспособным. Он может только побеждать; жить он не может.

Но как же все, опутанные паутиной законов и связанные невидимыми нитями, чувствуют, что ты бросаешь им вызов, хотя ты и не думал оповещать их о том, что вышел на тропу войны! Казалось бы, какое дело бельгийцам и немцам до моих проблем? Но они перестали покупать мои картины, тем самым грубо вмешавшись в мою личную жизнь и проявив солидарность со всеми теми силами, которые выступали против меня. Разве не заговор?

Толпы дилетантов по-прежнему посещали мою мастерскую, моя репутация неподражаемого колориста, к сожалению или к счастью, все еще работала на меня. Но они тут же поджимали губы, когда я им вместо дешевых колористических разводов подсовывал нечто для них неожиданное: пестрый луг под названием «Любовь», косматые «Тучи», от которых они отскакивали, как ужаленные, многочисленные портреты моей Маруси, пушистых кошек, которых обожала Маруся, небеса.

У меня стала появляться другая репутация. Пошел слухок (пущенный друзьями, не сомневаюсь), что я деградирую. Мои лучшие картины они посчитали деградацией! Придумайте способ, как досадить мне больше! Можете и не стараться. Это древнейший и вернейший способ борьбы всех против одного. Им, друзьям, недругам и всем, кому на меня наплевать, нужна была сиреневая мазня, я это отчетливо понимал. Я должен был сделать вид, что слегка почудачил, и вернуться к своим условным теням, облакам и деревьям, – всему тому, что при известной сноровке мог бы намалевать любой пьяный бобер своим мокрым хвостом. Мне нужно было отказаться от себя – и тогда бы мне все простили, да еще и приняли в свои ряды как героя.

Но я с некоторой гордостью, которая смешивалась с колким холодком в груди, чувствовал, что меня физически отвернуло от мазни. Я просто не мог, не в состоянии был отказаться от себя: вот в чем была моя проблема. Я вмиг разучился рисовать незамысловатые колористические композиции, которые были под силу любому презренному маляру, и даже маляры имели право меня презирать.

Я работал до изнеможения, как бешеный, над целой серией картин, сюжеты которых, оказывается, поднакопились в запасниках моей памяти за целую жизнь. Оказывается, я душил сам себя, успешно переселившись в свой условный мир, и не давал моему дару раскрыться. Любопытные, оригинальные идеи и цветовые решения тихо угасали в моем воображении, сворачиваясь тлеющими комочками, но не исчезая окончательно. И вот сейчас, к моему удивлению, они встряхивались и оживали, словно спящие до поры до времени бабочки, обретая второе рождение. Их крылья чутко вздрагивали, будто хрупкие опахала, они легко отталкивались и без напряжения снимались и улетали. Бабочка за бабочкой. Целый рой картин создавался сам собой. Одних видов Свислочи набралось более десяти.

Я так и не добил сам себя; я все еще жил, подчиняясь какому-то антиобщественному закону.

Плотину прорвало. Меня знобило от творческой лихорадки, однако у меня заканчивались краски, на исходе были холсты. Мне позарез необходимо было продать несколько картин. Для того чтобы оставаться собой, надо было понравиться им. Я бы ни секунды не задумываясь проткнул насквозь своей лучшей кисточкой автора этого прелестного закона.

И чудо свершилось. Нашелся один бельгиец, который, судя по всему, влюбился в мой пестрый луг. Он также очень заинтересовался картиной «Тучи», а я, конечно же, им. Его звали Ренэ. Я не видел его, и даже не представлял себе: они все были для меня на одно бюргерское лицо. Он связался со мной по телефону, честным баритоном сдержанно похвалил картины (я почувствовал, что он сделал вид, будто бы спокойно относится к моему лугу), – и я оторопел от названной им суммы. Это была фантастическая для меня сделка. С огромным количеством

нулей. Мои финансовые проблемы решались на многие годы вперед. Бельгиец был не собирателем мазни с претензиями, а частным коллекционером с именем. Картина моя не исчезла бы, не канула в Лету провинциальной коллекции (милая Лета всегда представлялась мне в виде одной из живописных излучин Свислочи), а, напротив, стала бы появляться на выставках. Все это четко оговаривалось в контракте. По-моему, Ренэ учуял что-то небывалое. В таком случае картина уходила к нему за гроши.

Мне вдруг резко расхотелось продавать картины. Однако обстоятельства, которые были то ли за, то ли против меня, вынудили Herr Malakhoff пойти на компромисс. У меня, очевидно, просто не было другого выхода. Ренэ не просто торопил; он в мягкой форме поставил жесткий ультиматум. На следующий день он уезжал. Времени на раздумья не было.

И я понес обе картины по указанному адресу. В одной руке я нес холсты в рамах, в другой – пакет с апельсинами для Маруси. Она резко отдалилась от меня. Не обиделась – а именно отдалилась. Она знала, что мне предстоит нелегкий выбор. Свой выбор она уже сделала: она с самого начала решила жить свою жизнь. Она и слышать не хотела об аборте. Ребенка она оставляла независимо от моих решений и от чьего бы то ни было мнения. Меня приятно удивила сила ее характера.

В сущности проблемы выбора передо мной не было. Я выбрал сам себя, свою свободу – то есть союз с Марусей. Но надо было реализовать свой выбор, воплотить его в жизнь. И я не торопил события, мудро, как мне казалось, выжидая. Творческий подъем – был лишь следствием правильно выбранной перспективы. Я все делал, как мне казалось, правильно. Вот и деньги пришлось весьма кстати: тоже следствие верной политики. Когда начинает везти – везет во всем, и по крупному, и в мелочах.

Странно: Марусе нравилась моя творческая активность, жене – не нравилась. Только разменяв шестой десяток лет, я встретил, наконец, свою женщину. Да, затянулась моя молодость. Может, начиналась счастливая полоса в моей жизни?

Я долго не мог найти дом номер пятьдесят. Сорок девять – вот он, я обошел его три раза. Пятьдесят один – рядом, на горочке. Где же дом номер пятьдесят?

Нехорошие предчувствия шевельнулись во мне. Если дома нет, значит, адрес, скорее всего, указан неправильно. Четная сторона обрывалась сорок восьмым домом. О пятидесятом никто ничего не знал. Но это чертовщина! Это же нелепая случайность! Если коллекционер ошибочно назвал мне адрес – я останусь без денег, а мир – без моего шедевра. Этого не может быть! Я только-только собираюсь начать жить. Нельзя отбирать у меня эту возможность: это было бы слишком несправедливо. Слышите?

Однако дом номер пятьдесят как в воду канул. Вернее, я отыскал только фундамент дома, похожий на руины, который был заложен еще несколько лет тому назад. Меня уверяли, что это будущий пятидесятый, желая, очевидно, успокоить меня.

Квартира мне была указана двадцатая. Я обошел все квартиры под номером двадцать во всех близлежащих домах. Телефона mg. Ренэ у меня не было. Приятели, а также приятели приятелей, не говоря уже о друзьях, никакого Ренэ не знали и слышивать о таком не слышивали. У меня не было оснований им не верить. Участковый милиционер, молодой лейтенант с перебитым носом, из-под тусклой лампочки скучно смотрел на меня и на упакованные картины и ничего не объяснял. Скорее всего, он даже не понял, о чем идет речь. Спасибо, что хоть отпустил с миром.

Я сделал все что мог.

Сработал Закон дома, и я остался без денег. В утешение мне тучи на небе выстроились в таком грозном порядке, как у меня на картине. Сама природа подражала мне. Наверное, это были хорошие картины. Может, и к лучшему, что мне не удалось их продать?

И я пошел к Марусе, чтобы, наперекор всем законам, объявить нас законными мужем и женой.

9

Наступила уже поздняя осень, а я все еще никак не мог расстаться с летом. Можно сказать, моя жизнь канула в лето. Мне никак не давался простой натюрморт. Апельсины, разбросанные по столу, сколоченному из простых досок. Я заметил одну особенность: когда апельсины растерянно раскатываются, у меня получается печальный натюрморт, а когда они собраны, сбиты в упругую кучку, отчего-то возникает бодрящее чувство. Я никак не мог определить необходимой мне меры разбросанности, и натюрморт не клеился.

Я возился с апельсинами, словно с шарами на бильярдном столе, играя против кого-то решающую партию. При этом кисть я держал, как кий или пику наперевес. Сердце дергалось неровными толчками. Неужели начинался творческий кризис?

Причины для этого были. Собственно, две причины. А может быть, дело было и не в причинах, а в каком-то еще неведомом мне грозном законе?

Причина первая была связана с моей женой. Боюсь, теперь я недооценил степени любви моей жены ко мне (или к себе: в этом было сложно разобраться). Она сделала попытку суицида, грубую и безобразную: отравилась моими, с таким трудом добытыми красками, предварительно наглотавшись каких-то успокоительных пилюль. Ее реанимировали и привели в чувство. Сейчас она лежит в больнице в состоянии глубокой депрессии. Я ношу ей сок. Разумеется, она отказывается видеть меня, хотя неизменно интересуется моими делами (об этом во всех подробностях рассказывает мне сын).

Причина вторая была связана с Марусей. Она тоже лежала в больнице. Ее сбила ехавшая навстречу легковая машина, которая именно в том месте дороги, где находилась Маруся (кстати, по всем правилам дорожного движения бредущая навстречу движущемуся транспорту), поравнялась с грузовиком. Проклятый Закон дороги оказался сильнее условных Правил дорожного движения. Маруся уцелела. Однако в результате шока у нее случился выкидыш. Маруся тоже находится в состоянии глубокой депрессии, и даже картина «Любовь», висящая над ней на стене, мало ее вдохновляет. Я ношу ей апельсины. Она печально смотрит на меня и ничего не говорит.

– Что ты делала на дороге в ночное время, Маруся?

– Хотела убедиться в существовании Закона звезды.

Я опять оказался в ситуации выбора, только я плохо представлял себе, что мне предстояло выбирать на сей раз.

Работаю над повестью. Посвящу ее Марусе. Пытаюсь понять Закон законов, существующий в еще нигде не изданной книге, но царящий в мире легко и непринужденно. Мне помогает в этом природа. Мелкий снежок порошит беззвучно и лениво, словно равнодушный песок в песочных часах. Снег порошит – время утекает.

Вот это равнодушие снега ко времени внушает уважение к природе, которая не терпит пустоты и фальши, заставляет вслушиваться и вживаться в беззвучные ритмы. Время исчезло, пространство перестало иметь значение. Я остался один на один с вечностью в сером многоэтажном доме на окраине большого города...

P.S. Герой этой повести умер от сердечного приступа. Произошло это на улице, среди многочисленных прохожих, в тот день, когда он дописывал свою рукопись. Оскар Малахов неловко завалился на спину, на лице его застыла неопределенная улыбка, глаза были закрыты. Апельсины вывалились из пакета и широко раскатились по холодному асфальту.

Партия была окончена. Это случилось 17. 11. 2003 в 11 ч. 33 мин.

Пустота

1

– Вы несовременны в своих взглядах, – веско стояла на своем Будда, тайная поклонница Маркса, а возможно, и Герострата.

– Да, я проспал эпоху. Зато с какими женщинами! – возразил я в стиле веселых, находчивых и пустых.

– Шутить изволите? – она пыталась испепелить меня коричневым взглядом загадочных некогда глаз.

Я ей сказал:

– Существует несколько способов гарантированно испортить отношения со мной. Среди них есть универсальный: начать учить меня, профессора, как писать программу или учебник по дисциплине, которую я преподаю всю жизнь. Как правило, я охотно иду навстречу невежеству, и мы быстро достигаем результата – абсолютного взаимонепонимания. Вы собираетесь настаивать на том, что моя программа далека от совершенства?

– Вы должны... – последовал стальной скрежет, напоминающий изготовку гаубицы на благоприятной позиции перед решающим залпом.

Дальше я уже не слушал. Во-первых, мне было совершенно неважно, что она скажет после такого начала, а во-вторых, я уже знал, что она услышит в ответ.

«Я никому ничего не должен: запомните же, наконец, эту простую заповедь, когда вы разеваете рот в мою сторону» – было самое мягкое из того, что я сказал. Разумеется, она оскорбилась.

Звали ее Лариса Георгиевна Державная. Была она заведующей кафедрой филологических наук Европейского гуманитарного университета (частного, негосударственного). Лично я звал ее не иначе как Будда – и вовсе не за поразительное внешнее сходство, и отнюдь не за то, что была она из местечкового Буда-Кошелева, а за страсть поучать и повелевать. Даже когда она молчала, подданные трепетали.

Весь сыр-бор разгорелся из-за того, что я походя объявил «Черный квадрат» некоего Малевича мазней, недостойной внимания просвещенной публики.

– Сия блажь достойна лапы годовалого макаки, если в данном случае важно указать на пол художника. Впрочем, годовалая самка, я полагаю, тоже вполне справилась бы, намалевала бы не хуже – хотя бы потому, что хуже не бывает, – завершил я свой краткий спич, обращенный куда-то в пространство и время.

Будда почему-то смертельно обиделась.

– Все считают это шедевром, и вы бы должны...

Словосочетание «вы должны» действует на меня магически. Апокалиптически. Оно ослепляет мое сознание и заставляет забывать об осторожности. Собственно, реакция на эти два самых распространенных в мире слова стоила мне места в Государственном вузе. Я долго не мог растолковать самому себе, в чем тут дело. Наконец, сегодня, кажется, до меня дошло.

Учительство. Все дело в учительстве, которое я органически не выношу. В моем репертуаре общения с неумными и дубоватыми людьми есть один хорошо отрепетированный монолог, доставивший мне в жизни немало хлопот. Но, кажется, он хорошо мне удается, и я иногда не отказываю себе в удовольствии произнести его перед оторопевшим слушателем. «Существует несколько способов...». И так далее. В разговоре с Буддой я привел его почти полностью.

Скажу больше: я терпеть не могу откровенно учительского тона не только по отношению к себе, но и по отношению к кому угодно, даже к детям. Такой тон уместен разве что по отношению к собакам или львам, да и то лишь к тем, которые к учению глухи.

Думаю, что здесь дело не во мне. Дело в закономерностях, порождающих сам феномен учительства.

Какой человек позволяет себе учительский тон – гнусные повелительные и безапелляционные интонации, – интонации, подчиняющие, поработавшие другого человека? А?

Только тот, кто уверен в своем праве повелевать, вести за собой «неразумных».

В основе этого недоразумения лежит все тот же ненавистный мне комплекс: отсутствие ума, следствием чего являются твердые (они же благие) убеждения, определяющие пафос учительства.

Иными словами, учить стремится тот, кто обладает убеждениями, сформированными глупостью. Тип общения, который называется учительство, предназначен для людей, осваивающих жизнь бессознательно.

Вот почему там, где царствует религия, – там культивируется пафос мессианства, учительства. Учитель, окруженный учениками, – это форма удовлетворения социальных потребностей, ибо учить в этом контексте – значит, учить приспособливаться. Учить в этом смысле – значит, апеллировать к бессознательному, к душе. Вот почему отношения учитель – ученик принято характеризовать как душевные. Главные учителя, полководцы и всемирные главари, разумеется, Христос, Магомет, Будда и иже с ними.

Умный не учит общаться душевно (то есть не учит приспособливаться); более того, он даже не учит уму-разуму, уже хотя бы потому, что понимает, насколько безнадежно глупы те, кого приходится учить.

Умный принципиально не учит, то есть не становится в позу и позицию учителя; он учит (избранных, себе подобных) постигать законы – учит тому, что жизнью управляют законы, а не учителя. Это самый плохой учитель, которого только можно себе представить. Но в то же время это и лучший учитель: он может обучить искусству познавать нескольких умных, которые, безусловно, нуждаются в руководстве такого наставника. Хороший учитель, как видим, судит по себе; плохой, к сожалению, тоже.

Существует, правда, жанр невинного поучения. Я разумею под этим общение двух равноправных субъектов в форме обращения одного, в силу возраста или опыта стоящего на более высоких информационных позициях, к другому, в силу возраста или опыта (но не по причине скудного разума!) находящегося на ступенях более низких. Больше опыта, знаний, больше шишек набил, старше возрастом, ближе к смерти – вот ты уже и учитель. В этом смысле каждый человек – учитель, как только он научился внятно говорить и поднялся с четверенек. Делиться опытом, предостеречь, помочь ближнему – всегда пожалуйста; но зачем относиться к этому серьезно, как задрипанный падре? Зачем устраивать цирк учительства? Поделился информацией – и свободен. Не впутывай других в свои проблемы и сам не путайся у них под ногами.

Обращение умного к дуракам – это только по форме учительство и поучение; по существу же это идиотизм чистейшей воды. Не уважаю.

Кажется, я начал за здравие, а кончил за упокой. Что ж, это доказывает только то, что самое трудное в жизни – не унизиться до учительства.

Я завалился на диван и легким нажатием кнопочки пульта включил музыкальный центр. Комнату заполнили звуки неземного блюза, трепетавшего в нервном solo гитариста, причудливо рифмовавшимся с хрипловатым вокалом, под который был бережно подложен страстный стон саксофона. Струны нежно ворковали о своем, а голос убедительно гнул свою линию. Хотелось плакать оттого, что хотелось жить. Блюз – это раздирающие вашу душу противоречивые чувства. Это музыка чутких взрослых, не желающих расставаться с юностью. Вот она,

нужная нота прощания и одновременно готовность к новой любви, которая, еще не начавшись, уже тоскует в стиле блюз.

Я позвонил Наташе и сказал:

– Хочешь почувствовать, что у меня на душе? Послушай.

Музыка звучала еще несколько минут. Правой рукой я держал телефонную трубку возле колонки, а левой размазывал набегавшие слезы по щекам, на которых, казалось, я чувствовал пальцами бороздки еще вчера отсутствующих морщин.

– Как выводит, сукин кот, словно в последний раз, – произнес я охрипшим голосом, как бы извиняясь за невидимую мой собеседницей слабость.

– Здорово, – сказала Наташа. – Но что это значит?

– Это значит, – твердо ответил я, зная, что не ошибаюсь, – что ты выбрала не меня. Ты выбрала Олега.

До этой минуты мне и в голову не приходило, что проблема наших отношений – это проблема ее выбора. Свой выбор, как выяснилось, я сделал давно.

– Ты уверен?

– Абсолютно. Ты мой свет в окне. Я чувствую тебя.

Видимо, моя уверенность передалась и ей. Она легко согласилась со мной, и еще несколько долгих минут в знак благодарности мило щебетала в высоком регистре о чем-то неважном, унижающем нас обоих.

После того, как она положила трубку, я вновь пережил каждую ноту того же блюза.

2

Почти все профессиональные занятия гуманитариев бессмысленны.

Они, как правило, занимаются ничем, то есть ничем не занимаются. При этом тратится куча энергии, включается завидная работоспособность, они заставляют считаться с собой, тормозят других: масса людей приходит в движение, заражая друг друга тщеславием и корыстолюбием. Возникает иллюзия кипучей деятельности – иллюзия содержательной жизни.

На самом же деле они скрывают от самих себя пустоту.

Все это открылось мне после того, как я попрощался с Наташей. Оказывается, я не замечал возни вокруг себя только потому, что был занят своими переживаниями. Теперь, когда мне предстояло обнаружить новую точку приложения своих сил, выяснилось, что я не готов жить по их лекалам. И я, и они стали понимать, что я какой-то не такой.

– Ты тоже так считаешь? – развязно спросил я у девушки Веры, кажется, бывшей моей студентки (еще того, Государственного вуза), ныне молодой доцентши, продолжая свой внутренний монолог, спросил для того, чтобы услышать в ответ что-нибудь несомненно обидное для себя. Я находился в ссоре со всем миром, и мне хотелось драки. Я попросту лез на рожон. Честно говоря, после такого вопроса лично я тут же бы нахамил тому, кто имел наглость его задать.

– Нет, я так не считаю, – сказала Вера тихим голосом. – Я считаю, что вы талантливый человек, и все у вас получится. Вы чемпион, а не аутсайдер.

– О чем это ты?

Я впервые внимательно посмотрел в ее голубовато-серые с коричневыми крапинками перчинок глаза, казалось бы, неброские и невыразительные – ровно до того момента невзрачные, пока вы не начинаете внимательно вслушиваться в тихий голос и улавливать, что глаза что-то вам сообщают в тон голосу.

– О том же, о чем и вы. Не переживайте. Даже если вас и уволят, то потому только, что вы умнее их на голову. Многие вам завидуют из-за того, что вы такой сложный. Оригинальный.

– А что, меня могут уволить?

- Конечно. Разве не об этом вы спрашивали?
- Впервые об этом слышу. Для меня это новость.
- Станный вы человек, Лев Львович.
- Пожалуй, да, странный.
- И за что вас женщины так любят?
- А вы считаете, что любят? – почти искренне изумился я.

Она пожала плечами, дав понять, что напрашиваться на давно заслуженный комплимент так же нелепо, как и ломиться в открытую дверь.

Я проводил ее долгим взглядом. После неравнодушного тихого голоса и теплых серых глаз, ее подтянутая фигура тридцатилетней женщины буквально поразила меня. Во-первых, я мгновенно и с удовольствием восстановил в памяти, что всегда украдкой поглядывал ей вслед; во-вторых, я перестал понимать, отчего я стал считать, что такие фигуры – «безлико, подиумно красивые» – не в моем вкусе. Великолепных пропорций гибкое тело, стройные ноги с тонкими щиколотками, неопределенных размеров грудь (явно не крупная, однако что-то подсказывает, что именно грудь и удивит тебя всего более – чистотой линий и особой отзывчивостью), светло-русые волосы.

Мне всегда казалось, что в моем вкусе была Наташа. В моем вкусе – это, как мне казалось, крупноватая грудь, полноватые бедра и пухленькие губки. Все пышненькое, но без перебора. И обязательно темненькая, почти брюнетка. И что же? Чем все это закончилось?

Все закончилось печальным блюзом. Впрочем, нечего Бога гневить: на мой нынешний вкус эта музыка куда предпочтительнее марша Мендельсона. И даже, пожалуй, Реквиема жизнелюбивого Моцарта. Чтобы заводить семью, надо верить в будущее. В какое? В то, которое расцветет вслед за глобальным потеплением, следствием глобального идиотизма, насажденного учителями, вполне достойными своей невменяемой паствы?

На следующий день я вырядился, словно на собственные похороны – элегантный темный костюм в оживляющую тонкую полосочку, вольной расцветки галстук и однотонная бежевая рубашка, тщательно отглаженная. На лице, как у беззаботного дуэлянта, было написано: помирать – так с музыкой. Некоторая небрежность в наряде, свойственная холостякам и неудачно женатым, – небрежность, вызывающая коварную жалость у окружающих женщин, была изведена на корню. Вместо нее – вызывающий налет дендизма. Они должны были запомнить меня победителем.

– Вы должны... – начала было Будда, но уперлась взглядом в модный узел шелкового галстука (цвета «вырви глаз», разумеется) и замолчала.

– Следует оформить программу в соответствии с новыми требованиями. Даю вам на это ровно один день. Рецензии на программу получены положительные, как ни странно.

– Разве я не пишу заявление по собственному желанию?

– Нет, не пишете. У вас нет для этого никаких оснований.

– А собственное желание? Оно не является основанием для принятия жизненно важных решений?

– Оно не в счет. Вы должны...

Если вас отпускать невыгодно, вам ни за что не получить пинка под зад, вы будете выпрашивать эту милость Христа ради; скорее, начальство пнет само себя. В исполнении столбовой дворянки Будды (у нее ноги – столбиком) это выглядело потрясающе.

– Меня не уволили, – сказал я Вере.

– Я знаю, – ответила она, не поднимая на меня глаз. Я дерзко дождался, пока серые очи скользнут по моему лицу, споткнутся о мой прямой взор и робко замрут. Тонкими пальцами она убрала завитую прядь со лба. На безымянном пальце тускло сверкнуло обручальное кольцо.

Золото высшей пробы. Я как-то забыл о том, что она была замужем.

Вера тоже выглядела, как на празднике или на дне рождения, хотя ее, вроде бы, никто увольнять не собирался. Однако для меня праздник – ожидаемый день свободы – окончился вместе с тусклым салютом маленького золотого колечка.

Глупо, если разобраться. Золото всегда все портит: заманит и обманет.

Что ж, в том, что все кончается, даже не начавшись, есть своя тайная прелесть.

И об этом был осведомлен страстный блюз.

3

На следующий день в невнятных выражениях я предложил Вере пройтись после работы по парку вдоль Озера, широкими артериями-каналами разлившегося в самом центре перенаселенного Мегалополиса.

– Вы приглашаете меня на свидание?

Глаза ее были опущены.

– Нет, конечно. То есть, да. Отчасти. Погулять...

Правда была в том, что я и сам не знал, чего я хочу и зачем бормочу нелепицу, от которой уголки ее губ мило загибались в улыбке.

Я даже не сразу оценил, что Вера согласилась.

Только на Озере я сообразил, что у меня был великолепный повод и предлог: ни с того ни с сего в ноябре выдался солнечный, почти весенний по пафосу день. Нисколько не сомневаюсь, что именно из-за этого я и предложил «пройтись». Но вот обозначить солнечный день в качестве ни к чему не обязывающего аргумента и предлога отчего-то забыл. Солнце, которое я просто обожаю, напрочь вылетело у меня из головы.

– Какой сегодня день! – тихо воскликнула Вера.

После этого говорить о солнечных бликах на озере, о том, как отражаются большие деревья в светлой воде, как мир кувыркается и переворачивается на твоих глазах безо всяких на то оснований, было несколько неловко: складывалось впечатление, что ты перехватываешь созерцательную инициативу.

Но я, разумеется, говорил и говорил.

– Кстати, помните, какое сегодня число? – вдруг остановилась Вера у небольшого водопада. Издаваемый им приятный шум не заглушал ее слов, напротив, придавал им значения.

Разумеется, я не помнил. С числами у меня всегда была большая напряженность.

– А не помните, что было ровно год тому назад, день в день, седьмого ноября?

Я, конечно, не помнил. Оказывается, у нас был банкет. По случаю окончания (или начала?) важнейшей конференции, о которой забыли раньше, чем прошло похмелье после банкета.

– И что же? – спросил я, внутренне сжавшись.

– Тогда был снег. Вы провожали меня домой и пытались поцеловать.

– Я?!

– Вы, вы, Лев Львович, кто же еще. Вы были такой неуклюжий и несчастный.

– Я был несчастный? Год назад я был в раю с Наташей. Видели бы вы ее бедра...

– Вы рассказали мне о своем рае, хотя я вас об этом не просила. В тот раз – без подробностей, надо отдать вам должное. А потом полезли целоваться. Из огня да в полымя.

Я что-то смутно припоминал. К сожалению, именно полез, или что-то в этом роде. Сказать «ах, да, я все прекрасно помню, просто на секунду вылетело из головы», как это всегда делает Будда, было бы глупо. Будду не интересует, верят ей или нет; Будда в наглую злоупотребляет благовидными предложениями. Мне же было далеко не все равно, как посмотрят на меня серые глаза. Хватит с меня в упор незамеченного солнечного дня. Поэтому я хмыкнул, неопре-

деленно и вместе с тем застенчиво; при желании этот звук можно было принять за готовность к запоздалому раскаянию.

Солнце будто вприпрыжку, как на детском утреннике, рыжим колобком прокатилось по траектории, напоминающей полукруг мостика над речушкой или небольшую радугу над горизонтом, чтобы исчезнуть в пасти, утыканной зубами многоэтажек. Какой-то там урбанистический Крокодил Солнце в небе проглотил. Маленький аттракцион прямо у вас перед глазами, даже голову задирать не надо. Это летом валяжное солнце пышной барыней, в кринолине и с зонтиком, вразвалку проплывает по дуге у вас над головой, и к концу дня, превратившись отчего-то в собаку чао-чао и вывалив жаркий язык, устает больше, чем одуревшие от зноя люди.

Ноябрьский день был до обидного кратким. Тем более что я, кажется, вполне справился с некоторым оцепенением, и уже начинал нравиться самому себе.

Мне предстояло самое главное и ответственное: приглашать ее на следующую «прогулку», которую надо было четко и с беззащитной откровенностью называть свиданием, – или...

Или светским тоном поблагодарить за чудесно проведенный день. И в том, и в другом случае тон должен был быть решительным и уверенным.

Я же так и не понял, чего я хочу и чего добиваюсь. Я совершенно не мог прогнозировать ее реакции ни на одно из предложений. Что должна ответить дама, окольцованная раз и навсегда?

И тут я удивил сам себя. Глядя в ее глаза, в которых что-то светилось и переливалось, я взял ее лицо в руки и поцеловал. Медленно и осторожно.

Она не испытывала ни малейшей неловкости, что тут же передалось и мне. Губы ее были мягкими и предлагали себя с нежностью и трепетным ожиданием.

– Давай встретимся завтра. Или мы будем целоваться раз в год? – я начинал становиться похожим на самого себя, нащупывая вместе с шатрами ее груди нити инициативы.

– Раз в год, пожалуй, маловато. Ты сладко целуешься. Давай встретимся завтра. Где?

– Здесь же, на этом месте. Это ведь так естественно – возвращаться туда, где тебе было хорошо. Таких мест немного на белом свете, поверь.

– Я согласна.

– Меня опьяняет, когда я слышу от тебя «ты».

– Меня тоже...

Наутро выпал первый снег, закрутила пурга, и свидание наше отменилось по причине разыгравшейся непогоды (мы, столкнувшись в коридоре, улыбнулись друг другу глазами и развели руками: дескать, не судьба). К вечеру мне стало казаться, что я целовал Веру давным-давно, еще до того, как в моей жизни появилась Наташа.

Потом я представил, что и Вера испытывает то же самое в своей уютной теплой квартире, на диване, прижавшись телом к мужу и рассыпав свои локоны на его бережно подставленное плечо.

Блюзу, как выяснилось, знакомо было и это настроение.

4

Пустота, по-моему, окрашена в мышинный серый цвет с оттенком некоторой голубизны.

Если бы я был кинорежиссером, я бы попросил кинооператора направить камеру сначала вверх, в смутно-серое марево, и замереть на неопределенное время, чтобы почувствовать томительную тяжесть давящего серого. Затем камера под грузом серого безвольно скользнула бы вниз, цепляясь за верхние этажи серых небоскребов; затем, царапая серые стены и обнаруживая серость во всем: в ровных линиях окон, балконов, квадратных панелей – камера тупо

уткнулась бы в серый фундамент, эту серую точку отсчета. Потом камера заметалась бы вправо, влево. Земли не видно. Кругом грязно-серый снег (так некстати выпавший вчера). Созерцание мира непременно закончилось бы мутно-серыми небесами (небоскребы проскочили бы двадцать пятым кадром), где камера обнаружила бы воображаемую условную точку, за которую кто-то словно подвесил серую камеру.

Наконец, дневной свет медленно бы погас, то есть серость истаяла бы, превратившись в подбитую серым покрывалом тьму.

Это был мой образ мира. Изредка сквозь серую пелену в мои унылые владения пробивалось зимнее солнце, устраивая мне маленький праздник.

Теперь вам понятно, что значило для меня вторжение в серый мир жемчужно-серых глаз?

Тут дело было вовсе не в Вере; дело было в том, что невозможно было жить в сером мире. Умом я это понимал. Почему же я так легко расстался с Наташей?

Терпеть не могу простых вопросов, отвечать на которые надо долго и вдумчиво. Ответ есть, но он затерян где-то в тех серых дебрях, в которых ум пересекается с душой, образуя непролазные джунгли. Продерешься через них, оцарапав в кровь кулак, намертво сжимающий мачете, – а через день-два тропинка бесследно зарастает. Каждый день туда не находишься. Да и зачем?

Достаточно того, что я знаю: ответ есть, хотя не скажу, что он меня устраивает.

Я бы ответил так (если бы кто-нибудь неравнодушный настаивал на ответе): я ведь выбирал не девушку, на которой собирался жениться. Я выбирал вариант будущего – будучи уверенным в том, что пустота, заполняющая мою жизнь изнутри и снаружи, не может быть будущим. У меня не было стимула заглядывать в будущее: таков был стержень моей жизни.

Веру я не выбирал; она просто оказалась рядом. В самое неподходящее время в нужном месте.

Я знал, что я должен сделать: я должен забыть Веру.

Поэтому я врубил блюз.

5

Прошла неделя.

Меня разбудил телефонный звонок. Едва открыв глаза, я стал соображать, не проспал ли я лекцию. Не то чтобы со мной случалось такое, но оно вполне могло случиться, ибо интерес к работе я утратил, кажется, самым радикальным образом. Мне осточертело преподавать, учить никому не нужному ремеслу – понимать литературу – неизвестно кого.

Работа: вот еще одна проблема, которую мне надо было решать...

Ладно, как-нибудь потом. Начну с ближайшего понедельника.

Поднимая трубку, я прокашлялся и кремниевое настроился на повелительные интонации Будды.

– Почему ты не звонишь?

Это был голос Веры. Я совершенно опешил – то есть я не был готов к тому, чтобы когда-либо заговорить с ней так, как мы говорили на озере в тот сумасшедший солнечный день.

– Ты уже забыл о моем существовании?

– Я просто сплю, Вера. И мне, если честно, хочется забыть о своем существовании. Какой сегодня день?

– Понедельник.

– Вот как? Ты хочешь сказать, что вчера было воскресенье?

Теперь мне стало ясно, почему я не находил себе места в выходные.

Позвонить ей я не мог, мне все мерещился муж со своими развернутыми мускулистыми плечами. При этом я ни на секунду не забывал, что я не должен ей звонить вообще. Ни в

воскресенье, ни в понедельник. Никогда. «Мой дом. Моя крепость. Мои русые волосы моей жены. А ты, лишний, изыди». Что тут скажешь? Он прав.

– Я сейчас приеду к тебе. Назови адрес.

В ее решительном тоне было столько доверия ко мне, что я окончательно разволновался.

– Конечно... Конечно, назову, мой адрес, – бормотал я, выигрывая время. Дело в том, что адрес моей квартиры, в которой я проживал последние десять лет, напрочь вылетел у меня из головы. Пришлось лихорадочно нашаривать паспорт в верхнем выдвижном ящичке комода (важные бумаги у закоренелого холостяка всегда в относительном порядке, то есть знают свое место в мире, в отличие от их владельца), искать в паспорте (сколько же там лишних страниц, украшенных государственными гербами!) штампик с отметкой о прописке и небрежным тоном диктовать:

– Записываешь? Проспект Победителей, дом...

– Это же в двух шагах от меня. Я буду у тебя через пятнадцать минут.

Я застыл с трубкой в руке. Мне пришло в голову: а вдруг у меня начался склероз? Забыть собственный адрес: это надо умудриться. Как меня зовут?

Ну, это просто. Надо запомнить только имя. Меня называли в честь отца, строптивного человека с добрейшей душой. Получилось что-то звериное и ласковое: Лев Львович. Фамилия?

«Кажется, ваша фамилия на букву А», – сказала мне Будда при первом знакомстве, желая проявить вежливость, то есть намекая на то, что она интересовалась моей персоной (в чем я сильно сомневаюсь). «Совершенно верно», – ответил я. «Романов». «Значит, все же на Р?» – смерила она меня взглядом. «Боюсь, что да», – расшаркался я, как персонаж нелепого английского фильма, показывая, что тоже имею представление о вежливости.

Помню, помню.

Потом я вспомнил, что забыл о самом главном: «через пятнадцать минут». Склероз, склероз. Надо как-нибудь к врачу, в ближайший понедельник. Нет, понедельник у меня, кажется, занят. Хорошо, во вторник. Нет, во вторник у меня лекции. Может, в среду? Что у меня в среду?

Я ринулся в ванную, приводить себя в порядок. Мокрые волосы, майка с надписью СССР, джинсы – и вот он, звонок в дверь. Через четырнадцать минут.

Через пять минут я уже стаскивал с себя джинсы с майкой, галантно распахивая мою еще неостывшую постель.

Такой женщины у меня не было никогда. Я уже вышел из того возраста, когда мужчина все еще втайне смущен байками о kloкочущем темпераменте удивительных смуглых дев, не встречавшихся пока на его пути, и завидном искусстве мачо, способном раззадорить даже русалку с холодной скользкой чешуей. Я видел всякое, и не ожидал ничего такого, что могло бы меня удивить. Но я был изумлен и взволнован (хотя осознал это только на следующий день – и склероз здесь, прошу заметить, не при чем: это фокусы подсознания). На каждое мое прикосновение Вера реагировала, как на горячую, холодную или теплую воду. Казалось, в ее кожу вмонтированы сверхчувствительные датчики, которые заставляют ее каждую секунду вздрагивать, переживать и томиться. Я быстро оценил эту ее способность не оставаться равнодушной к тактильным контактам, и любое прикосновение старался превратить в теплую ласку – при этом незаметно втягивался в сладкий, творческий процесс, и мы всякий раз доводили начатую игру до волшебного исступления. Через некоторое время все опять повторялось с прежней интенсивностью, хотя мы должны были устать. Но мы не уставали.

Мы попали в сказку.

Это была бесподобная сексуальная сессия. Вера не рвала пододеяльник, не орала, не кусалась и не царапалась. Никаких внешних проявлений необузданных желаний, никаких африканских экстазов. Но она настолько искренне и самозабвенно отдавалась мне, тихо и страстно, что я опасался только одного: как бы мне ее не подвести.

И я не подвел ее. Ни разу.

Наутро я открыл глаза – и сразу вспомнил Веру. Я перебирал в памяти нашу вчерашнюю встречу и поражался тому, насколько ярко я помню все детали. Меня буквально мучил один вопрос: неужели она и своему мужу отдается именно так, с закрытыми глазами и тихими, всхлипывающими стонами (сдерживаясь изо всех сил), и потом благодарно целует его мягкими губами в шею, долго не выпуская из своих объятий?

Неужели в нашей сессии не было ничего личного?

Я назвал ее «моя ласковая девочка» – и почувствовал, как учащенно забилося ее сердце. Неужели муж тоже называет ее «моя ласковая девочка»?

Какая разница: было или не было, называет или не называет? Это ничего не меняет. У меня гостила чужая жена, которая не может быть мне близким человеком, – вот она, грубая реальность. Все остальное – миражи, фантомы, и надо избавляться от них, чем скорее, тем лучше. Я должен.

Но мой ум не управлял моим воображением. Перед глазами колыхались белые холмы, которые я освободил из-под крепких шатров. Моя постель хранила наши запахи. Я вынюхивал их, хищно раздувая ноздри, и сердце мое колотилось: я чувствовал, что мне чего-то не хватает, какого-то жизненно важного компонента, без которого организм преждевременно стареет и перестает сопротивляться немощам и болезням.

А о чем мы разговаривали? Я никак не мог вспомнить содержание наших бесед. Хотя говорили мы долго: Вера ушла от меня под вечер. Наверное, все же склероз маячил на горизонте. Придется в среду идти к врачу за талончиком. Если, конечно, не просплю.

Нет, кое-что я все же помню. Она сказала: «Сначала я влюбилась в тебя. Потом, благодаря тебе, в литературу. А потом еще больше в тебя...» «Почему же ты мне ничего не сказала об этом?» «Ты казался мне недосыгаемым. А потом эта твоя Наташа... Забыл?» «Когда ты вышла замуж?» «Давно». «Зачем?»

Она закрыла мне рот своими мягкими губами. Моя рука уже сжимала крутой упругий холм. Вера издала тихий стон, после которого я впился в ее губы. Ее прерывистое дыхание. Я уже весь состоял из одного чистого звенящего желания. Опять тихий стон. И вот он, главный прорыв, после которого все перепуталось: она, сопротивляясь, отдавалась мне, я сражался с ней и с собой, наши ноги немислимо сплелись, а души, кажется, срослись. Мы что-то безумно шепчем друг другу – и вот оно, солнце, ослепляющее своим сиянием все вокруг, вырывается из тьмы под наши стоны...

Разве не стоило преподавать всю жизнь, чтобы оказаться в постели с такой женщиной, своей бывшей ученицей?

Интересный вопрос. Надо его обдумать.

Кстати, как она ушла?

Не помню...

Ах, да, я проводил ее до дверей, дальше она не позволила. Я долго гладил ее тело под свитером, на который уже была брошена шубка, стараясь запомнить рельефы и выпуклости. Глаза мои закрыты (так лучше запоминать). Утомленные купола под шатром. Мягкий и одновременно упругий живот. Жесткая шерстка. Тихий смех сопровождал движения моих ладоней. Поцеловала ли она меня?

Не помню.

Холодный лязг замка – и я остался один.

Сейчас закрою глаза, потом открою их и одновременно улыбнусь своему отражению в зеркале. Вот он, миг успокоения. Это моя простая йога, которую я рекомендую всем закоренелым холостякам. Обычно я наслаждался тем, что остаюсь один. Что ни говори, испытываешь особое удовольствие, когда женщина уходит. С ней хорошо, а без нее – еще лучше. Удоволь-

ствие быть вдвоем сменяет ни с чем не сравнимый кайф одиночества. Никому ничего не надо объяснять. Когда ты один, ты всегда и во всем прав.

В этот раз все было по-другому. Мне сразу же стало отчетливо плохо. И я с возмутительной ясностью сознался, что так случилось в первый раз в жизни. Мне предстояло самому себе кое-что разъяснить. Никуда я в среду не пойду. Кстати, в среду ко мне придет Вера. Улыбнулся я только в этот момент. И только после этого закрыл глаза. Сразу же включилось внутренне зрение: мои ладони, плотным куполом облегающие холмы, особое движение бедер, абсолютно бесстыдное, если бы не врожденная целомудренность моей девочки...

Пришлось открывать глаза. Во-первых, слезы, от которых становилось жалко самого себе, а во-вторых, заныло сердце. Да. Сердце плюс склероз. Самое время начинать новую жизнь. Во-первых, в прошлое верится с трудом, ибо оно забыто, а во-вторых, будущего не должно быть слишком много: сердце.

И то, и другое меня устраивало.

Впервые блюз зазвучал в моей спальне утром. Во вторник. Это пронзительная и завораживающая музыка, создающая вечернее настроение. Это музыка вечера, музыка разлуки, рожденная любовью. Утром ее слушать нельзя: после этого день перестает быть рабочим.

Мне пришлось лишний раз убедиться в этой истине, в которой я и не сомневался.

6

Во вторник я не пошел на работу. Точнее, я заглянул на работу (у меня были на то свои причины – не столько чертовы лекции, сколько глубоко личное) и тут же нарвался на Будду, памятником расширяющуюся книзу, как бы к пьедесталу. Я памятник себе воздвиг. Вот и она тоже. Ибо каждый учитель есть памятник самому себе.

– Вы должны...

– Будьте здоровы! – сказал я, вспомнив нелепую ситуацию с Винни-Пухом и Совой.

– Не поняла! – величественно вылупилась внезапно осовелая Будда.

– Вы чихнули, вот я и пожелал вам доброго здоровья, – скромно потупился я, не ожидая благодарности за свой добрый поступок.

– Я не чихала, – как-то неуверенно протянула Будда.

– Вы чихнули.

Я был настойчив и галантен.

– Как-то неуклюже, на букву «ж», но все же чихнули. Несомненно. Вы сделали это. Берегите себя. Я бы порекомендовал вам больничный. Или, на худой конец, чай с малиной. Сейчас все болеют: грипп, птичий, свиной – на выбор; далее... склероз, и эта, как ее... (Вообще-то я хотел сказать не склероз, а ОРЗ, но эта аббревиатурка, будь она неладна, вылетела из оперативной памяти. К врачу!) Кстати, я тоже чувствую себя крайне неважно. Наверное, буду вызывать врача на дом. Лекции отменяю... Кха-кха.

Она достала носовой платок и с достоинством удалилась в сторону деканата. Я с не меньшим достоинством исчез в противоположном направлении, напевая про себя тоном Красной Шапочки, избежавшей встречи с ужасным Серым Волком в темном-темном лесу: «Чай с малиной, ночь с мужчиной, ла-ла-ла». В планах у меня было невзначай столкнуться нос к носу с Верой, однако ее юркие передвижения из аудитории в аудиторию не оставляли сомнения в том, что, во-первых, она меня заметила, а во-вторых, не желает меня замечать. Что ж...

Подождем до среды. То есть до завтра.

Я возвратился домой и стал перебирать бумаги, которыми, казалось бы, в беспорядке был усыпан мой рабочий стол. Но я-то знал, что в кажущемся беспорядке присутствует своя логика. Груды скрепленных листов, россыпи бумажек и просто листиков громоздились слева и справа. Записи, вырезки, цитаты, лежащие слева, не содержали первоочередной важности

информацию, однако это были заметки, которые меня чем-то зацепили, чем-то привлекли мое праздное внимание. Из такого рода информации рождались интересные идеи и статьи. Но от них было мало пользы, то есть они не шли мне в зачет и писались в стол. Сиречь, в никуда.

Справа располагались рабочие (полезные) материалы. Из них рождались программы, учебные пособия, вопросы, билеты – словом, все то, что составляет научную продукцию академического профессора, все то, от чего меня тихо мутило последнее время.

Я сдвинул материалы, лежащие справа, на самый край стола, освобождая себе пространство в центре. И положил перед собой бумажку, взятую слева.

Мне давно хотелось обдумать небольшой ряд цифр, выписанный из статьи в экономическом журнале.

В 1995 г. 258 долларовых миллиардеров (приблизительно около 50 % всех богачей мира) собрались в отеле «Фермонт» (США) на очередное заседание мировых олигархов. Все было чин чинарем, фешенебельно и легально. Эти милые люди констатировали, что 1 % населения Земли владеет 99 % всех богатств мира. Далее они приняли к сведению, что для обслуживания и приумножения их сокровищ им понадобится, увы, всего лишь 20 % населения Земли (от общего количества на тот момент). «Боюсь, что у остальных 80 % в ближайшее время будут колоссальные проблемы», – сказал какой-то олигарх в сером костюме, забавно шепелявя сквозь вставной фарфор. Люди, не понимающие шуток, улыбнулись, обнажив такие же ряды крепких не своих зубов.

Мне неловко было считать этих людей диктаторами, лично мне они не сделали ничего плохого; но как человек, обреченный испытать в ближайшем будущем «колоссальные проблемы», я ощутил прилив святой ненависти. И ненависть моя не была формой зависти – она относилась вовсе не к тому, что я не попадаю в один процент с фарфорозубыми. У моей ненависти был более интересный адресат – желудок человека, полагающий, что с помощью жалкого интеллекта он поставил весь мир на колени. Желудок в панаме, оскалившийся фарфором. Здравствуй, брат!

Собрались эти всемирные чемпионы как-то под тентами и решили напасть на Ирак – и тут же, под предлогом диктатуры демократии, то есть диктатуры желудка, с божественной легкостью взялись перекраивать карту мира. Этим светлым, доброжелательно настроенным друг к другу людям нужна нефть? Конечно. Кому же в наше время не нужна нефть? Но несметные сокровища уже давно не приносят удовольствия сами по себе. Времена Али-Бабы и его сорока разбойников прошли. Золото и алмазы приносят власть – но власть уже особого рода. Нефть, черное золото, – это хороший предлог, разумеется. Все в мире завидуют олигархам (боюсь, и Будда, поклонница Маркса – тоже), поэтому поймут их и без слов, тем более что все «слова», произносимые в средствах массовой информации, также оплачены олигархами.

Но почему бы нам напасть не на Ирак, как всем кажется, а на Вавилон, руины которого мирно покоятся близ Багдада (огромный квадрат раскопок, прозванный в народе «черным»), и не отомстить первой в истории мировой империи за то, что она тысячелетиями была «чудом света», Первой?

Унизить прошлое величие, саму Историю, – это покруче нефти будет.

Последнюю империю, СССР, мы развалили только что, и это произошло до обидного не апокалиптично. Раз – и в дамки. Где же моря крови и тектонические сдвиги? Никакого адреналина, слабенькое зрелище, хотя мы вбухали кучу бабла. Отыграемся на первой.

И теперь, когда нет ни первой, ни последней можно за коктейлем подумать о единственной. Вечной Империи. Минус 80 % – и все становится управляемым и подконтрольным. Скучно...

Вы получаете власть быть Богом, и сама всемирная история превращается в игру, ставки в которой – всего лишь ваши миллиарды. Сегодня выиграл тощий господин Н., завтра – толстая леди В. Движущие силы истории, о которых твердил переучившийся бедняга Маркс, пре-

вращаются в пустой звук. Историей начинает заправлять кучка олигархов, решающая в перерывах между ланчем и обедом, что делать с 80 %, засоряющими пространство и историческую среду. Можно травануть их чем-нибудь генетически модифицированным, можно ВИЧ как-нибудь модернизировать, а можно...

В общем, есть варианты. Профинансируем университеты – и высоколобые рабы, прилично, как им кажется, зарабатывающие и превыше всего ценящие свою свободу, что-нибудь придумают. Уж мы-то за Земелькой проследим.

Эта версия рассматривалась мною уже потому, что она была вполне сумасшедшей. Люди, придатки своих желудков, заигрались, им стало казаться, что они запросто управляют историей – прошлым, настоящим и будущим. На самом же деле эта мания всемирного величия возникла как следствие того, что человек не в состоянии управлять собой. Собой, своей собой, то есть желудком в душевной оболочке, и, следовательно, всем вокруг себя, он «управляет» бессознательно. Но бессознательно управлять историей – значит, подчиняться все тому же бессознательному. Управлять историей, то есть относительно контролировать ее движение, возможно только с помощью разума.

Разве объяснишь это желудкам в панамах, облюбовавших отель с крысиным названием «Фермонт»?

Но дело не в олигархах, как могло кому-то показаться. 1 % – это предводители всех остальных, и люди вполне заслужили такую элиту. Все думают желудками, только у фарфоровых он оказался крепче. 99,99 % населения Земли, включая обреченных 80 %, не замечают меня, и по их законам я не существую, меня нет; они превратили меня в песчинку пустоты.

Но и без меня, Льва Романова, ваш мир – пустыня, на песках которой когда-то возник Вавилон, ваш мир – пустота, ибо мысли ваши, произведенные желудком, – ничто.

И я, самый главный враг сильных и слабых мира сего, потомок Хаммурапи, сижу у себя в кабинете и радуюсь тому, что будущее у меня, человека разумного, и у желудка – одно. Отнимешь будущее у меня – сам останешься без будущего. Вы еще приползете ко мне за разумным советом, убогие.

А я еще посмотрю, стоит ли мне делиться властью.

Но это утешало мало.

И я провалился в горячий, рожденный раскаленной пустыней блюз.

7

Рано утром в среду раздался телефонный звонок.

В это время я, приняв душ, наслаждался горячим чаем, новостями из Ирака и иных «горячих точек», волдырями покрывших планету Земля, а также роем смутных фантазий, которые сливались в облако вожделения. Я снял трубку и вкрадчивым голосом доложил:

– Мой ангел, я, старый повеса, впервые ловлю себя на мысли о том, чтобы замужняя женщина, мечта ловеласа, стала моей женой. Подожди, не перебивай меня. Я обожал чужих жен, потому что они гарантировали мне необременительную интрижку. Я наслаждался ими и не уважал их. Мне не надо было любить их, достаточно было любить только себя. Тебя, Вера, я не могу забыть вот уже целый день и две ночи. Мне трудно будет сказать тебе об этом, глядя в твои совсем не серые глаза. Кстати, я вчера только понял, что позавчера заметил это. Твои глаза поменяли цвет, представляешь? Спасибо за внимание. Теперь я готов выслушать тебя. Опять продиктовать адрес? Вера, склероз – это привилегия Будды, тебе еще рановато...

– Лев Львович, вы открыли вчера больничный лист? – раздался из трубки голос Будды.

Теперь я понимаю, что значит гром среди ясного неба. Я даже плотнее запахнул халат: меня будто холодом обдало из разодранной тучи.

– Извините, кажется, моя речь предназначалась не вам, Лариса Георгиевна, и если бы вы любезно прервали меня вовремя, вам не пришлось бы выслушивать столько глупостей.

– Да, я не Вера. Если вы вчера не позаботились о больничном, то сегодня должны заменить коллегу Седлухо, выручившего вас вчера, когда вы симулировали, обманывая очередного мужа и его несчастную жену. С удовольствием хочу сообщить вам, что ваша неявка на работу сегодня станет еще одним поводом для немедленного увольнения. Замену вам мы уже нашли. Ваше место займет Седлухо, мой зам. Желаю удачи, господин повеса.

Голос Будды сменили короткие нудные гудки. Кстати, слушать их было приятнее, нежели мадам Державную. Только трубка знает, как грязно думал я в этот момент о Будде, таких, как она, о подвернувшемся мне под руку муже Веры, о моей паршивой судьбе, об олигархах, Али-Бабе, о самом себе и целом свете ублюдков, способных только бесконечно воевать, но не способных познавать себя.

Что ж, программа и учебное пособие написаны. Почему бы теперь не прирезать курицу, которая снесла положенное количество золотых яиц?

Слишком много золота – это девальвация. В услугах прелестной курицы уже никто не нуждается. Все логично. Займите кресло, пан Седлухо! А еще говорят, что свято место пусто не бывает; по-моему, оно только пустым и бывает.

Святое – значит, пустое.

В этот момент раздался звонок в дверь. На пороге стояла великолепная Вера, сияющее лицо которой в мгновение ока потухло.

– Что случилось? – сразу спросила она.

– Вера, понимаешь, Вера...

Меня потрясла перемена, которая произошла с ней со скоростью света.

Никакой игры. Чистое светлое чувство ко мне. Мой мгновенный порыв к ней. Она обняла меня, и я заплакал, в то же время отчетливо представляя себя персонажем, с глубокой иронией наблюдающим со стороны за всем происходящим. Я упорно не верил тому, в чем был абсолютно убежден.

– Чего ты хочешь? Чего ты добиваешься – ото всех и от меня? – спросила Вера, внимательно выслушав мой монолог, подслушанный Буддой. Я повторил его специально для Веры: из вежливости. Кроме того, боюсь, у меня не было выбора.

– Сам толком не знаю.

– Они же съедят тебя, разорвут на мелкие кусочки! Это же вампиры! Крокодилы! А я – замужем. Я действительно замужем. И это не моя прихоть, а моя судьба. Понимаешь?

– Ты будешь иногда вспоминать обо мне, разорванном на мелкие кусочки?

– Перестань. Я серьезно.

– И я серьезно. Будешь?

– Буду. Легче стало?

– Нет. Тяжелее.

Она засмеялась и бросилась целовать меня.

– Подожди, – сказал я и отстранил ее от себя. Из ее глаз напрочь исчез серый фон, они светились мягким светом, льющимся из морского простора.

– Я люблю тебя, – сказал я.

– Я тебя тоже люблю, – просто ответила Вера.

– Нет. Пожалуй, я тебя обожаю.

– Я тебя тоже.

Еще я хотел сказать, что не могу жить без нее, и в этот момент я бы не солгал. Уже разведенные запасы моей любви позволяли мне сделать это историческое заявление безо всякого риска для моей репутации. Однако слишком многим людям было бы слишком плохо от этих

искренних слов, которые так ждет услышать каждая женщина и которые так приятно произнести мужчине. Что-то в этом мире наперекосяк...

Я обнял ее за талию, она склонила голову ко мне на плечо. Моя горячая ладонь гладила ее спину под свитером. Она коротко, прерывисто вздохнула и задержала дыхание. Сердце ее учащенно заколотилось. «Моя славная девочка», – сказал я. «Моя любовь». С тихим стоном она рухнула на мой диван, увлекая меня за собой.

Мы слушали тот самый блюз, под печальные ритмы которого я расстался с Наташей.

Но теперь эта же музыка говорила мне совершенно о другом. В знакомых звуках мне чудились волны, энергично налетающие на мокрые прибрежные валуны, с шипением откатывающиеся назад, чтобы с прежней настырностью расшибаться в брызги о камни.

Зачем?

8

Будь моя воля, я бы поставил на краю Земли, с которого все начинается (где-нибудь около Вавилона), памятник веселому беспечному негру, не умеющему печалиться. Он был бы изображен поющим блюз, творящим музыку печали, отрицающую саму себя. Да, он, с клокочущей энергией радости, пел бы о печали, в которую не очень-то и верил, – но почему-то не мог о ней не петь. Добрый искренний негр.

И эта статуэтка стояла бы у меня на столе.

Пустынный рабочий стол Будды, твердо стоящий на кривоватых массивных ногах у нее в кабинете, украшал бюст идейного вождя мирового пролетариата Карла Маркса: высокое чело, серьезное лицо, обрамленное бронзовыми завитками сантаклаусовой бороды; то любимые студенты Будды вручили ненавистному преподавателю многозначительную фигуру, – еще тот подарочек, которым она, впрочем, не стеснялась гордиться. Чтобы подчеркнуть, что этот слиток и монолит – глубоко личное, выгравировали надпись: «На вечную память Л.Г. Державной от студентов первой группы, никогда не посмеющих ее забыть. 07.11.1984».

У меня на столе гипотетический добрый негр (в принципе я терпеть не могу памятников; разве что негра как-нибудь приспособить под авторучки? статуэтка с функцией карандашницы – было бы изумительно), у нее – чародей и пророк Карла по пояс. Есть разница?

Существенная. Скажи мне, какая статуэтка украшает твой стол, и я скажу...

Да нет, я просто не стану с тобой разговаривать.

Но я должен. Я просто обязан сказать Будде все, что я о ней думаю.

С этой мыслью я практически ворвался в ее кабинет.

Каково же было мое удивление, когда я увидел Будду, коброй нависшую над симпатичной стройной женщиной, стоявшей перед ней с бледным лицом и скрещенными руками. Будда что-то шипела.

– Извините, – сказал я, хотя собирался сказать совершенно противоположное.

– Куда вы, Романов? Зайдите. Подойдите ко мне. Ближе. Вы знаете, что вы уволены? Знаете? Поздравляю. А вы поздравьте Седлухо. Но это сейчас не важно. Вы мне нужны как свидетель.

– Свидетель чего, Лариса Георгиевна?

– Преступления, чего же еще.

Остекленевшие глаза госпожи Державной меня насторожили.

– Вы знаете, кто это? – ткнула она двумя пальцами, указательным и средним, словно раздвоенным языком, в сторону стройной женщины.

– Нет.

– Догадываетесь?

Откровенно говоря, в голове моей, лихорадочно перебиравшей варианты, не обнаружилось ничего, достойного внимания. Но я знал за собой один грешок: я часто не замечал очевидного. То, что у всех под носом, на виду, я как-то нелепо не принимал в расчет. Например: почему в вуз поступали бездари и тупицы? Оказывается потому, что кто-то брал взятки. Это же элементарно. Мне бы вовремя сообразить и быть поосторожнее с намеками. Судьба была бы другой. Вот почему я сосредоточился на версиях самых прозаичных и обыденных. Провинившаяся студентка? Для студентки женщина была слишком зрелой, что ли. Берут на мое место? Тогда зачем кричать на новобранку? Ах, да, вместо меня уже рекрутировали Седлуху. (Тут я мысленно поздравил этого очкарика с рыбьей кровью, ото всей души желая творческих успехов его куцым мозгам.) Преступление, опять же, какое-то затеивается.

– Не догадываюсь, – сказал я, готовясь услышать в ответ нечто обескураживающее своей простотой.

– Это моя невестка.

Как я сразу не догадался. Будда-свекровь: это ведь чудовищный триллер по своему креативному потенциалу.

– Лев Львович, – представился я женщине.

– Светлана, – ответила она, и по ее уверенному и спокойному ответу я понял, что кобра вполне могла быть и жертвой в этой неоднозначной ситуации.

– О каком преступлении вы говорили, Лариса Георгиевна? – начал я свое невинное расследование.

– Я сегодня повешусь, – ответила Будда, – и всему виной будет вот эта... шлюха, – она указала на свою собеседницу. – А вы подтвердите, что это она толкнула меня на самоубийство.

– Я не шлюха, если вам это интересно, – обратилась ко мне Светлана. – Что касается повешусь, не повешусь... Давно пора бы, Лариса Георгиевна. Лет десять уже это слышу. Только я здесь не при чем. Вы сами себя в петлю загнали. Это вы сделали своего сына инвалидом! Вы и никто другой! По вашей вине Сережа здоровье потерял. А теперь вы, чувствуя себя виноватой, хотите сделать виноватым его. Это для вас единственный способ удержать сына, чтобы и дальше манипулировать им. Вот вы и клеветецте на меня, вырывая своего сына из рук «развратной» женщины. Я такая же развратная, как вы – святая. Вы только о себе думаете! Для вас никого не существует в этом мире. Поэтому и муж от вас ушел. Как он только не умер после первой же встречи с вами, не понимаю... Вокруг вас одно пепелище. Вы хотите заполучить сына, чтобы погубить его!

В этот момент мне захотелось заплодировать. Мой монолог был просто жалкой ролью второго плана по сравнению с этой пламенной импровизацией героини.

Как я мог упустить из виду, что Будда была еще и матерью? А ведь Будда – везде Будда: и на работе, и дома. И это покореженное существо, молящееся бронзовому Карле, крушила вокруг себя все, что могла. Потому что давно умерла сама. Не зная никаких подробностей, я знал, что Светлана была права. Будда жила по логике олигархов, по логике бессознательного, вне всякого сомнения. Надо было спасать сына Будды и мужа Светланы, если, конечно, было еще не поздно. Триллер так триллер.

– Вы проживаете совместно с Бу... с Ларисой Георгиевной? – взялся я за дело.

– Нет. Но она забрала сына к себе. И настроила его против меня и собственной внучки.

– Внучки-сучки, – быстро добавила бабушка, явно испытывая удовольствие от подлива-ния масла в огонь. Это было нечто из адского арсенала, ее так и тянуло в пекло.

– А завтра в петлю полезет Сережа, и я это знаю! Он без ног, и так всю жизнь мучается в протезах. Это мама с сыном в лифте проехала: впихнула ребенка в кабину, а лифт рухнул в шахту...

В глазах Светланы уже стояли слезы.

– Ты врешь, мерзавка. Это слесарь был пьян! Он забыл повесить табличку, что лифт на ремонте. Такой же распутник, как и ты!

– Вы оставили сына без ног, а теперь загоните его в петлю своими сплетнями!

Будду, казалось, вдохновило это отчаянное заявление.

– Да, он полезет в петлю. Полезет! А виновата будешь ты. Ты, шлюха! Мы испортим жизнь тебе и твоей дочери-сучке.

Я схватил Светлану за руку и потащил к двери.

– А-а! Теперь ты и с ним спуталась! Всех вас надо прикончить!

В спину нам полетело бронзовое изваяние и плотно приложилось головой кумира к двери, которую я проворно захлопнул. Мне показалось, бюст был полым внутри: он подозрительно звонко зазвенел, упав на паркет. Идея с карандашами вновь показалась мне актуальной. Для этого всего лишь надо было сделать дырку в голове борца с капитализмом.

– Спасибо, – сказала Светлана, после того, как мы, молча пролетев длинный коридор, выскочили на улицу. – Вы совершили поступок профессионального психолога. Нас надо было развести по углам. Я уже перестала себя контролировать.

– Вы как профессиональный психолог рассуждаете?

– Да. С ней разговаривать нет никакого смысла. У нее началась уже почти клиническая стадия какой-то разновидности психоза, я уверена. Меня привело к ней просто отчаяние. Призрачный шанс.

– Если я правильно понимаю, мужа вашего уже не достать из ее логова. Ему проще и приятнее считать вас виноватой. Извините за прямоту.

– Пожалуй, вы правы. Светлая голова, компьютерщик. И эта гром-баба стерла его в порошок. Он так и не освободился от своей болезненной зависимости от любимой мамы. И она его любит и ненавидит за свою вину перед ним. Она ежедневно напоминает сыну о его протезах, называет жалким уродом и призывает открыть глаза на то, что я этим бессовестно пользуюсь. Не могу не пользоваться. Я же красивая – следовательно, я стерва. И он, ее сын, вернулся к той, кто его всю жизнь добивает – к маменьке. Бросил жену и дочь, нас, которых любит больше жизни. Он никогда себе этого не простит, я-то это знаю. Я хотела вернуть его назад. Видите, что из этого получилось... А тут еще какой-то ее сотрудник, профессор, сошелся с чужой женой. И для нее это вдруг стало прямым доказательством того, что я изменяю своему мужу. Она заставляет сына требовать развода. Вот этот бред и есть наша семья. Вы что-нибудь понимаете в этой жизни?

– Понимаю, – сказал я. – То, что произошло, вполне нормально. По-другому не бывает. Кстати, этот сотрудник-профессор – именно я. Хотя я не уверен, что моя беспутная жизнь стала причиной ваших несчастий.

– Ваша история, как видите, пересеклась с моей. Возможно, мы оба без вины виноваты – если вы, конечно, верите в то, что бывает дым без огня. У вас что, любовь?

– К сожалению, да.

– Значит, у вас своих проблем хватает. Впрочем... Поймите меня правильно, говорю вам как профессиональный психолог. Я бы с удовольствием поменялась с вами местами. На время.

– Боюсь, в моей истории наступает то время, когда я бы не советовал вам этого делать.

– О-о! Тогда я вам просто завидую. Так хочется просто любви – и больше ничего. Любви любой ценой. Все остальное в жизни – пустота.

Ее глаза окончательно покинула агрессия змеелова.

– Спасибо вам. Вы тонкая женщина.

– Да, тонкая. Только где тонко...

– Не всегда. Иногда прочнее тонкости ничего не бывает. Как вы думаете, Лариса Георгиевна на самом деле может повеситься?

– Самое страшное, что не исключен и этот нелепый вариант.

– Почему же страшное? Любой другой вариант еще страшнее.
– Так-то оно так, но... Сережа ведь будет считать меня виноватой. Она об этом позаботится, можете не сомневаться.
– С другой стороны, для вас это единственный выход. Только вот пожелать вам такого счастья как-то язык не поворачивается.
– Вы правы. Я с вами согласна.
– Так устроен мир.
– Как это – так?
– Так. Какая-то дьявольская мясорубка. Уцелеть-то можно, но вот зачем – непонятно.
– Вы справитесь. У вас есть характер и психологическая устойчивость. И ум.
– Это наблюдения профессионального психолога?
– Нет, увядающей одинокой женщины.
Думаю, это был сильный профессиональный ход с ее стороны.
– Вы любите блюз? Послушайте блюз сегодня вечером.
– Почему именно блюз? А не Рахманинов, например?
– Это долго объяснять. Рахманинов велик. Но вы... Просто послушайте блюз.
– Мне нравится это нелепое предложение.
– Поймите меня правильно: это очень интимное предложение.
– Пожалуй, я так и сделаю.
– И еще, Светлана... Вы не одиноки, у вас есть дочь. Вы не знаете, что такое одиночество. И, наконец... Вы красивы и порядочны. Это наблюдения завязанного дамского угодника.

Она вскинула на меня глаза, мерцающие чудными темноватыми оттенками, глаза, в которых можно было разобрать и привычку терпеть боль, и затаенную надежду, и готовые брызнуть фейерверком искры радости, – типично «оконное» выражение лица (к этому я еще вернусь) – и я понял, что для меня перестали существовать на свете красивые женщины.

Кроме Веры.

9

Больное зимнее солнце лохматым желтым пуделем протрусило над линией горизонта и скрылось в серую тьму. Еще один день вспыхнул и погас бледной звездочкой.

С жуткой стремительностью приближался Новый год, предоставляя грустную возможность ощутить, с какой скоростью проносится наша жизнь. Короткие дни безжалостно поглощало серое время. Еще вчера царил Вавилон, а сегодня...

Я чувствовал, что моя проблема заключается в том, что я не могу вообразить себе свое будущее без Веры. Вот если бы я мог жить одним днем (чему я, увы, так и не выучился), то я был бы просто счастлив. Ее глаза, волосы, губы, теплое дыхание, сумасшедшие слова...

Но серая муть впереди просто портила мне праздник любви. Раньше подобные проблемы меня не волновали.

А что мне, собственно говоря, это будущее далось? Это даже не Гекуба. Так, абстрактные миллионы световых лет. На кой черт мне эти физические характеристики материи?

Думаю, со мной приключилась своего рода болезнь. Фобия современности. Благодаря развалу империи, могучего СССР, завоевавшего космос, во мне обострилось чувство будущего. Если пережил катастрофу, начинаешь даже не интересоваться – жить будущим. Если нет настоящего, и будущее не просматривается – это конец. Что прошлое?

Всего лишь путь к катастрофе.

Что касается Веры...

Я был нужен ей по какой-то иной причине, именно сейчас, а не в туманном будущем, которое мы по умолчанию не трогали (мы никогда не заглядывали вперед дальше недели); но

ее это успокаивало и устраивало, а меня ее довольный вид все больше раздражал и вызывал досаду. Оба мы тонко ощущали, что счастливо пересеклись где-то в эфире, нащупали хрупкое равновесие, и обоим было страшно делать резкие движения.

Можно было наслаждаться затишьем, но меня изводила моя печальная теория «окна» (напридумаю себе теорий, а потом мучаюсь ими). У Веры в жизни наступила пауза – «окно», возрастное и психологическое. Первая, пламенная, любовь к мужу уже прошла, охлаждение еще не наступило, ребенок еще не родился. Вот родится ребенок, тогда возвратится привязанность к мужу – и Лев Львович забудется как милое видение, как чистое приключение. А сейчас, именно сейчас, в этот благословенный промежуток, когда женщина вновь заневестилась, наступило мое время, время Дон Жуана и холостяка. Вот и все мое «оконное» счастье. Женщина заполняла мной паузу, что меня, холостяка, решительно отчего-то не устраивало.

Хотя и в моей жизни, согласно теории, которая еще вчера мне, в целом, нравилась, тоже открылось своего рода «окно». Я еще в состоянии был интересоваться будущим и еще чувствовал в себе силы на последний рывок. Именно поэтому меня не интересовала сейчас девица «в окне» (хотя еще вчера я грезил такими барышнями: я пользовался всеми преимуществами любовника, избегая при этом ответственности мужа). Мне нужна была девушка из моего будущего.

Моя теория стала меня раздражать (плюс еще фобия современности), и я первым понял, что долго так продолжаться не могло.

Любовь заставила меня крепко взяться за ум, и мне пришлось пережить несколько неприятных открытий, за которые, впрочем, я себя зауважал, как Христофор Колумб, вломившийся в джунгли. Все открытия были совершены в тех серых дебрях, где ум пересекается с душой и куда я был небольшой охотник заглядывать праздным оком. Мне не очень-то и хотелось называть вещи своими именами, но, как говорится, жизнь заставила. Мои теории становились более глубокими.

Главное открытие было простым и грубым: я честно признался себе, что не выдержу другого ее мужчины. Если бы я так ярко не представлял себе ее глаза, волосы, губы, теплое дыхание, сумасшедшие слова...

Сам факт того, что Вера не спешила разрешить эту сомнительную ситуацию, возможно, желала ее продлить, не испытывая дискомфорта, был, в моих глазах, не в ее пользу. Я хотел, но не в состоянии был оправдать любимую женщину; с каждым днем мне становилось все труднее смотреть в ее чистые глаза и по сто раз в день спрашивать: «Ты меня любишь?» После этого я сладко замирал, а она без тени фальши, тихо, на выдохе (нежным шепотом сфальшивить невозможно) всякий раз по-новому отвечала мне весьма убедительно. Спустя минуту я, проклиная свою навязчивость и не в силах удержаться, задавал тот же вопрос уже с другой интонацией и опять замирал, ожидая ответа. «Да, любовь моя», – дышала мне в губы Вера, нисколько не раздражаясь распушенностью моих чувств. А я тосковал по ее нежности, истаявая в ее объятиях. Разве можно было делить это с кем-нибудь еще?

И Вера искренне делила со мной то, что не передается словами. Пожалуй, только дыханием. И еще торопливым стуком сердца. Запахами. И еще...

Нам обоим нравился вкус ее влаги, кисленький вкус тропических фруктов, от которого шерсть – дыбом. Интимнее не бывает.

А потом она уходила домой, к мужу, искренне переживая, что всегда опаздывает.

Вот эти ее искренность и убедительность во всем кошмарно терзали мое воображение.

Я начинал сомневаться в том, в чем двое любящих сомневаться не должны. Любовь моя все больше напоминала муку. (Кстати, любовь для меня давно уже неразрывно связана с печалью и мукой. Почему? Это интересный вопрос, хотя для меня важнее, что это непреложный факт.

Почему же тогда я искал (оказывается – искал!) любовь, которая согласно странному закону, пронизывающему вещество вселенной, должна обернуться печалью и мукой?

Да потому что любовь еще как-то связана и со счастьем. Тот, кто творил всемирные законы, был или умен, как я, или дьявольски небрежен. Опять же – как я. Он был очень похож на меня.)

Вот почему долго так продолжаться не могло.

– Вера, что значит «я замужем» и что значит «я люблю тебя», меня, то есть? Это не вопрос, как ты понимаешь. Это просто вопрос моей жизни и смерти.

Я даже не заметил, что выражаюсь пафосно, словно клоун, потому что все мои силы были сосредоточены на том, чтобы как можно более небрежно затеять разговор, значивший для меня совсем немало. Точнее, слишком много.

Она лежала на моем плече, а я поглаживал ее живот. Странно: я легко представлял ее беременной, но не вообще беременной, а носящей моего ребенка. Я даже физически ощущал ее тугой, набухший животик, поглаживать который мне было бы невероятно сладко. Да, это была моя женщина.

– Не ставь вопрос так остро. Я еще не готова.

– Не готова к чему, Вера? Ты не знаешь, любишь меня или нет?

– Люблю.

– Ты не готова сказать об этом мужу?

– Не готова. Он не заслужил такой лютой казни. Да, он оказался обычным, серым человеком. Но мы вместе столько ждали ребенка, даже имена придумали, для девочки и для мальчика. Мы как-то вынынчили наше будущее. Оно не такое уж блестящее, но оно симпатичное. В нем вполне уютно. И... оно с нами сегодня. И тут врывается ты, такой яркий, ядерный...

– Ты хочешь сказать, я разрушил ваше будущее? Ты так ставишь вопрос? Мне казалось, я предложил другое будущее – тоже, может быть, не супер, но самое лучшее для нас с тобой. Я думал «я тебя люблю» – это и есть ключ к будущему. Других ключей у меня нет.

– Да, да, конечно. Это ключ. Но сейчас я просто запуталась. Не заставляй меня делать выбор с закрытыми глазами. Я не знаю, чего я хочу и к чему готова.

Она отводила глаза, а мне больно было видеть это. Она не заслуживала унижения, которого была достойна, нет, не заслуживала.

Мне опять захотелось спросить ее: «Ты меня любишь?» Тихо, без нажима. И я знал, чтосию минуту получу утвердительный ответ. Вера не умела врать – в таких вещах она не умела врать.

Но что-то заставило меня удержаться от вопроса. Я даже знаю, что именно: я привязывал бы ее и вопросом, и ответом. Я продолжал бы разрушать ее мир своими созидательными действиями. В этой ситуации, которую я только что создал своими руками, ее слова прозвучали бы не сладкой музыкой, а маленьким обещанием.

Вымаливать же обещание, опережая женское подсознание, пустое дело. Не стоило обесценивать слова, которые, по цепочке, обесценили бы чувства, а потом и само будущее. Пустота и так – вот она, всегда рядом со мной, всегда к моим услугам.

Блюз.

10

Приближался Новый год – праздник, который мне предстояло встречать в таком полном и разрушительном одиночестве (потому что Вере предстояло встречать его в кругу семьи), что меня уже сейчас начинало мучить зябкое похмелье.

Вера, словно желая про запас снабдить меня горячей нежностью, не расставалась со мной целую неделю, изо дня в день заполняя пространство и время вокруг меня. Собственно, она

больше жила со мной, нежели со своим мужем. (Опять эта вездесущая дележка, черт бы ее побрал!)

Наступило 30 декабря 2006 года.

– Почему ты замкнулся? – вдруг спросила она меня.

Мы находились на кухне. Вера крошила салат, стоя ко мне спиной, а я наслаждался мягким стуком ножа, уютным светом ночничка, вмонтированного в панель над столом, и совершенно новым для меня ощущением: жить под размеренный стук кухонного ножа. Звук телевизора был приглушен, и кровавые новости не то чтобы совершенно нас не касались, они не мешали нам быть счастливыми. Я легко представлял себе Веру беременной. В этот момент у меня не было никаких проблем с будущим. Возможно, впервые за всю мою сознательную жизнь, не такую уж, кстати сказать, и долгую. Жизнь коротка, а сознательная жизнь – просто миг.

– Мне трудно ответить на этот вопрос в двух словах. Потому что я тебя люблю – такой ответ тебя устроит?

– Ты так на все мои вопросы отвечаешь. А я сейчас о другом... Скажи, чего тебе не хватает? Ведь ты живешь, как хочешь. У тебя даже миксер есть, куча ножей, даже фартук. И никто тебе не мешает. Сам себе хозяин. Разве это не предел мечтаний – жить как хочешь, в свое удовольствие?

– Да, я живу как хочу. Но как хочу – это девиз слабака. Если ты живешь, как хочешь, следовательно, ты не можешь жить так, как должен.

– Но ты же ненавидишь это слово – должен. Ты же сам говорил.

– Ненавижу. Но я должен его любить. Я должен хотеть, понимаешь?

– Нет. Я только понимаю, что ты катастрофически умный. И мне от этого немного страшно.

Ее слова неприятно укололи меня – прямо в то самое место, где гнездятся всякие страхи. Мне страшно не понравилось слово «страшно». Оно было ключевым во фразе.

Во всем нашем разговоре.

Пожалуй, во всех наших отношениях, если вдуматься.

Как можно было так легко обронить убийственное слово, Вера?

А как еще надо было с ним обращаться, Лев Львович? Бережно обернуть разноцветной фольгой и пустить этот свинцовый комок из пращи тебе в висок, чтобы сразить наповал?

Вера здесь не при чем, профессор. И слово не при чем. Тогда в чем дело?

Я же умный, должен знать.

И я, конечно, знал, только не хотел догадываться об этом.

– Почему ты не женился? Скажи мне, только честно.

Вера повернулась ко мне. Никакого живота, разумеется, не было. Розовый халатик (купленный специально для нее – собственно, новогодний подарок), фартук и распахнутые глаза.

– Ты никак не можешь привыкнуть к тому, что слово «честно» мы не употребляем. Просто потому, что нечестно мы не говорим. Если появляется слово честность – прощай, честность.

– Извини. Почему ты не женат? Это ведь странно, если разобраться. Столько женщин вокруг...

– Давай разбираться вместе с тобой. Одному мне было скучно анализировать то, почему я остался один. Я знаю, что где-то в моих джунглях есть объяснение тому, что я прав. Но оно не делает меня счастливее.

– Давай разбираться.

– Понимаешь, в чем дело, моя девочка...

– Дальше не продолжай.

– Почему?

– Потому что я уже хочу тебя. Ты сказал «моя девочка». А этого не следует делать...

Мы оставили на ней только фартук, который нам сначала не мешал, и быстро перебрались на постель. Теперь уже фартук полетел на люстру (с которой, кстати сказать, были еще не сняты ее трусики, заброшенные моей ловкой рукой сегодня утром). Ей нравилось, когда я обнимаю ее всю, со всех сторон, обеими руками и ногами, жадно, как можно больше, так, чтобы площадь соприкосновения наших тел была максимальной.

– Вот теперь мне хорошо. Теперь я вся твоя. Можешь делать со мной все, что хочешь.

Есть вещи, которые уважающему себя мужчине не следует повторять дважды.

– Девочка моя, – сказал я.

Учащенный стук сердца был мне ответом. Я плотно обхватило ладонью ее грудь. Дыхание Веры тут же прервалось – зато тут же участилось мое. А дальше наши тела уже очень хорошо знали, что им делать для того, чтобы сладко стонали наши души.

Мне было приятно осознавать, что после тихих ужинов, подобных этому, мужу мало что достанется. С другой стороны, новогодние праздники длятся долго, очень долго. У молодой семьи будет время подумать о своем будущем, которое, конечно, планируется в постели.

Однако эти мысли не могли испортить мне сегодняшнего вечера: я был опустошен, хотя и не настолько, чтобы тут же полезть за трусиками для Веры. Еще не вечер, как говорится, в смысле, вечер еще не окончен.

Потом нам захотелось салата, который мы запивали великолепным красным сухим вином, аргентинского происхождения. После этого я стал облизывать ее губы, на которых осталась полоска от вина, а потом Вера спросила:

– Так почему ты не женат?

– Видишь ли, моя любовь...

– Тссс... Полегче, полегче. Иначе я ничего не пойму из твоих разъяснений. Табу на любовь.

– Хорошо, Вера Викторовна. Как прикажете.

– Так тоже не пойдет. Слишком ласково. У меня в животе все начинает волноваться.

– Послушай, заяц, я ведь не пытаюсь...

– Все. Ты сказал «заяц»... Дальше не продолжай. Иди ко мне.

Тропическая влага оказалась именно то, чего нам хотелось. Опустошение трансформировалось в миг просветления, и я не мог вспомнить, что такое ревность, хотя очень хотел. Я испытывал чистую любовь.

После этого нам было все равно, о чем говорить.

– После двадцати-тридцати женщин...

– Сколько у тебя их было?

– Больше ста, наверное.

– Сколько?!

– Девяносто девять, плюс-минус десять.

– Ты сволочь, Левушка.

– Да, ангел мой.

– Продолжай.

– Так вот, наступает период, когда ты начинаешь понимать, что отношения независимо от тебя выстраиваются по одной и той же заезженной схеме: за поэтической интрижкой всегда стоят голые прагматические потребности, причем с обеих сторон. Со стороны женщины: «Удивите меня, любезный Лев, я знаю, вы это можете. А то мне невыносимо скучно жить. Меня, такую загадочную и противоречивую, мало кто способен удивить». Со стороны, гм, скажем, с моей стороны: почему бы нет, мадам (мадемуазель, коллега или кто там еще – какая разница?)? Силы у меня есть, времени в избытке, перспектив, слава Богу, никаких.

Таких женщин я называю «оконными барышнями». Они высматривают себе женихов и делают им смотрины.

– Они раскрывают тебе окно, и ты лезешь к ним в терем?

– Приблизительно так, моя прелесть.

– Значит, тебя можно было назвать «оконным витязем»?

– Такой этап в развитии мужчины неизбежен.

– Продолжай.

– Слушаю и повинуюсь. Далее, по схеме, следует развитие отношений – розовый период ухаживаний, где-то до двадцатой-тридцатой женщины пленяющий постоянной новизной. Встречи, долгие беседы (луна, соловьи, ночные фонари – рассматриваются любые варианты), флирт, непременно произведение неизгладимого впечатления, можно-нельзя, ни да ни нет – наконец, постель.

Тут, по идее, и должно бы все начаться. Но этот пик всегда становится началом скорого конца. Почему?

Потому что за всеми этими «оконными» отношениями – пустота. Заполнение жизни любовной романтикой происходит из голого прагматизма, если разобраться. Начинаешь ненавидеть любовь и все ее проявления.

И вот однажды утром мадам или мадемуазель, не суть, видит в моих глазах потухшие искорки. Золу. Пепел. Ее поведение тут же меняется, ибо я на ее глазах превратился в отработанный материал. Я перестал ее ежедневно удивлять, перестал приносить пользу – то есть доставлять удовольствие. Выражаясь языком прежних отношений, мадам испытывает разочарование. Глубокое. «Звони». «Конечно, дорогая».

Вот почему в брак надо вступать вовремя – в самый что ни на есть розовый период. Не успел – опоздал. А успел – нажил себе проблемы...

Двадцать-тридцать женщин – это и есть розовый период в жизни мужчины. После этого начинаешь резко экономить на этапе ухаживаний. В принципе, все начинает измеряться часами, если не минутами.

Однако здесь уже и контингент иной. Быстро и без проблем, как правило, достаются только те, кто и даром не нужен. Поэтому порой приходилось вспоминать о пройденном этапе: без этого никуда. Приходилось корчить принца, заинтересовывать. И проклятая схема работала без сбоев. Жизнь превращалась в схему.

– Я в твоей схеме очень розовая девочка, не так ли?

– Ты женщина, которая сломала мою схему. Ты не вписалась в нее. Я уже почти перестал ждать, когда же это произойдет. Мне стало казаться, что такого просто не может произойти, что схема – это закон.

– А может теория схемы – это тоже элемент ухаживания? Ведь это очень сильный и неожиданный аргумент. Неотразимый комплимент на научной основе. Должен подкупать каждую девушку. Быстро и надежно. В одну минуту делает девушку эксклюзивной. Все «такие», а она – «не такая». Так сказать, технологическое совмещение первого и второго этапа. Ты довел науку ухаживания и совращения до совершенства. До свинства.

– Любовь моя...

– Тысяча извинений. Извини... Я тоже тебя ревную. Неизвестно к чему и к кому. Я действительно сломала твою схему?

– Ага. Как террористка. Пробежала, хвостиком вильнула, она упала и разбилась.

– Я ее вывела из строя навсегда?

– Смысловые схемы не поддаются починке, моя радость. Это же не утюги. Надо обзаводиться новой.

– Какой же ты все-таки монстр. Какой кошмар! Я не хочу, чтобы меня так препарировали. Я хочу оставаться загадочной, прежде всего для самой себя – ты слышишь? Да, вот такая я

дура. Дай мне слово, что ты не будешь объяснять мне мои поступки. И свои тоже. Нет, свои объяснять ты должен.

– Я буду стараться объяснить все на свете. Но я не Господь Бог, если тебя это утешит. В чем-то я буду ошибаться.

– Ты не Бог, конечно. Ты... опасней. Поэтому мне тебя и жалко. Иногда. Но потом во мне быстро начинает шевелиться любовь. Вот тут. Что ты делаешь с простой девушкой? Ты не играешь со мной?

– Я тебя люблю.

– Зачем я, такая обычная, тебе, такому необычному?

– Мы, монстры, любим молоденьких, с русыми волосами, славных девочек...

– Дуры вас не смущают?

– Мы обожаем их. Это наше основное блюдо. Дежурное...

– Перестань мурлыкать. Я тебя опять хочу.

– Так ведь я же монстр.

– Иди сюда. Не рассуждай.

– Можно, я включу блюз, девочка моя?

– Можно, моя любовь. А побыстрее можно?

Когда она уходила, я заглянул в ее глаза. Вокруг зрачков вспыхнули золотые кольца, переливающиеся алмазными инкрустациями. Что-то не понравились мне эти кольца. Почему я не разглядел их раньше?

И еще. В ее глазах опять появился серый фон.

11

Я не мог уснуть всю ночь.

Под утро казнили Саддама Хусейна. Не по-джентльменски. Через повешение. Одни учителя сожрали других. Естественный отбор. Жалкого диктатора не стало, а демократия победила все на свете, даже саму себя. Миллионы ликуют, миллионы скорбят. Хотя все они, наверняка, входят в отверженные 80 %. У всех свобода выбора. Гуляй, душа.

«А что бы ты хотел?» – слышу я возражения свободолюбивых толп, возражения, носящиеся в воздухе, в котором густо от подброшенных кепок, и ощущаемые даже кожей. «Что ты можешь предложить вместо демократии? Ты что, вчера только на свет родился и не знаешь, что лучше нее ничего не придумано? Все остальное еще хуже, полное говно. Аллилуйя, брат! Мы в дамках!»

Что я могу предложить вместо диктатуры желудка, напрямую связанной с куцыми мозгами? Что я могу предложить вместо диктатуры хама и опарыша, облеченного в перламутр и фарфор? Что я могу предложить вместо перспективы быть сожранным идиотами, размахивающими тряпками, на которых чей-то благородной кровью с ошибками написано «свобода, равенство, брэдство, б...ство»? Что я могу предложить в качестве альтернативного будущего?

Что я могу предложить вместо смерти?

Слушайте. И записывайте под диктовку. По буквам. Чтобы не было ошибок и недоразумений. Готовы? Врубите блюз. Пишем. Сразу на всех языках мира, включая те, на которых еще нет письменности, – слева направо, справа налево, вязью, грязью, чернилами, кровью, иероглифами, значками, крестиками, ноликами. Пишем!

Я предлагаю свергнуть диктатуру природы и объявить диктатуру культуры, диктатуру разума, что приравнивается к объявлению войны всем безголовым миллионам, ликующим и скорбящим.

Таково мое предложение. Прошу занести его в протокол ООН.

Несогласных олигархов прошу вывести из зала. Мальчики налево, девочки направо. Пусть строят свою пещерную демократию где-нибудь вне Солнечной системы, на расстоянии не менее 5–7 миллиардов световых лет от планеты Земля. Аплодисментов не надо. Не надо, я сказал. У нас не та диктатура.

«Этого не может быть. Это неслыханно!»

Не может быть будущего? Спасибо за новость. Я знал об этом еще тысячу лет тому назад. Но при чем здесь Саддам? Его-то за что?

Всем спокойной Ночи.

Я просплю вашу эпоху под мой блюз.

12

Новый Год приближается, в окна стучится!

И становится грустно и радостно всем...

Ах, семерочка, дай позабыться и сбыться!

Превратись хоть на годик в код счастья: ноль семь!

Это бездарное стихотворение я написал 31.12.06.

Делать мне было абсолютно нечего (надо было только поздравить Веру SMS-ской, поближе к полночи), времени хоть отбавляй, и я принялся размышлять.

Что празднуют люди, когда они празднуют Новый год?

Они празднуют праздник чуда, праздник веры в то, что случайность может изменить их жизнь. Отсюда и стихи (удивительно неуклюжие, но от души): поэтизация подобного мироощущения. Новый год стал едва ли не главным праздником цивилизации, ибо это праздник людей живущих бессознательной жизнью и не признающих никакую другую жизнь. Это праздник без-умия, именины сердца, торжество души. Вера в то, что одна счастливая встреча, одно счастливое событие могут круто изменить жизнь – лучшее доказательство того, что философия людей – это поклонение Его Величеству Случаю или Госпоже Фортуне. Ты ничто – случай все. Зачем персональные усилия, зачем никчемный разум, пытающийся познать законы мира и закон законов – себя?

Чем меньше разума – тем больше энтузиазма по поводу приближения Нового года. Архетип этого праздника, как и любого другого, – противостояние культуре. Этот праздник – игра в игру, не условная, а безусловная абсолютизация ритуалов. Праздник заклинаний, пожеланий, ворожений – праздник олигархов и нищих одновременно.

Вот она, суть человека: воспринимать мир чувствами, управлять им – чувствами, с помощью чувств населять его богами – следовательно, всеми чувствами ненавидеть разум, который пытается в абсолютизации чувств увидеть некую закономерность. Человек чувствующий (душевный, психологический) ненавидит человека размышляющего (разумного), ибо второй портит все праздники, отраду и смысл жизни бессмысленного существования.

Все ненавидят меня.

И простые люди-человеки, черт возьми, правы, как всегда бывает права природа, грубо и бесхитростно. Иначе они не умеют. Иначе душа не живет. Этот праздник, как и праздник вообще, нужен и разумным – именно как праздник души, а не личности. Привилегия личности – это не привилегия перестать быть человеком, а привилегия дифференцировать проявления человека. Праздник отменить невозможно, ибо это всегда праздник жизни; можно по-разному к нему относиться.

С Праздником всех, а также и себя!

Блю-юз, пли-из...

Вообще эта новогодняя ночь оказалась на удивление плодотворной в поэтическом отношении. Сначала я отправил Вере SMS-ску: «Поздравляю со светлым будущим. С новым счастьем! Стих по случаю.

Я тебя люблю, как тысяча чертей.
Представляешь, сколько, мы б сделали детей?!

Смешно, правда?»

Вера не откликнулась.

Наверное, не смогла. Была занята приготовлением салатов.

Я затосковал, несколько раз посмотрел казнь Саддама, заснятую на пленку и показанную всем людям доброй воли по всем телевизионным каналам прямо под Новый год (иногда возникало впечатление, что вешают Санта Клауса – то ли потому, что Хуссейн был похож на славного Деда Мороза, то ли оттого, что кадры с Дедом Морозом и Снегурочкой набегали на кадры казни через повешение), и написал еще одно стихотворение:

Люблю тебя, как дикий кот.
Вот.
А еще люблю я мед.
Вот.
Нет. Совсем наоборот:
Я сначала съем свой мед,
А потом люблю, как кот.
Вот.

Но оправлять сей опус не стал. Кому? По адресу: Вселенная, моей любимой, до востребования?

Это были стихи себе, любимому, в свой личный альбом.

Прошла неделя.

От Веры не было вестей.

Мне стало ясно, что в последний наш вечер в прошлом году что-то произошло. Стало ясно, что угасание наших отношений – вопрос решенный. Для таких вопросов, списанных в утиль, существует формула: это всего лишь дело времени.

«Угасания наших отношений», сказал я, но не моего чувства.

Хотя это уже не имело к нам с Верой никакого отношения.

Когда ей стало ясно, что мне стала ясна перспектива наших отношений, и я принял все как должное, она позвонила. Разговор был бессодержательным. Беспредметным. Сам факт такого разговора говорил о том, что нам не о чем говорить.

Я не просил ее не звонить больше. Она и сама все поняла.

Розовый халатик я запаковал в полиэтиленовый пакет, чтобы не испачкался (забавно!), и выбросил в мусорный контейнер.

Но она все же позвонила еще раз.

– Ты не мог бы подарить мне подборку блюза, которую... которая у тебя есть.

– Конечно, мог бы. Блюз – музыка не запрещенная. Я оставлю диск для тебя на кафедре.

– Спасибо.

– Ну, что ты. Пустяки.

– Только, если можно, не надо оставлять диск на кафедре. Ты мог бы передать мне его из рук в руки там, на Озере? Это мой последний каприз.

– Пожалуйста, Вера. Любой каприз.

Я даже не стал уточнять, где это «там, на озере». И так было ясно: там, где я ее поцеловал. Это было не свидание, и я не собирался волноваться. Так, слегка тряслись руки, ноги, пересыхало во рту. Не знаю, зачем я вообще ввязался в эту сентиментальную авантюру.

Вера пришла вовремя, я ее почти не ждал. Передал ей диск. Мы обошлись словами взаимного приветствия, вежливой благодарности и вежливого уклонения от нее; никаких посторонних разговоров. Даже погоду, аномально теплую в том и в этом году (что творится в мире?! жаримся на сковороде, как черти в пекле), мы не затронули. Ничего личного.

– Ну, я пошла, – сказала она.

– Конечно, конечно, – кивнул я.

И вот она уходила от меня своей легкой походкой, немного нахохлившись, вобрав голову – непокрытую, само собой, – в воротник шубки, сливавшейся с цветом ее волос (было прохладно при всех тепловых аномалиях), уходила быстро и, разумеется, не оглядываясь. Я мог пялиться, сколько угодно, не опасаясь, что мы вдруг встретимся взглядами.

И я малодушно воспользовался этим подарком судьбы, у которой, очевидно, были свои представления о щедрости: она предоставила мне шанс полюбоваться женщиной, которую незадолго до того отобрала у меня. Что за девичья память! Неужели у судьбы тоже есть возраст, и она в свое время неизбежно начинает страдать склерозом, этим неприятным спутником сосудистых заболеваний?

Возможно, это и не забывчивость вовсе, а замысел.

Что касается меня, то я, оказывается, не забыл, что скрывается под этой плотной темной юбкой в крупную клеточку, длинной юбкой, из-под которой видны только теплые сапожки.

Нет, не забыл.

Волосы ее были слегка влажными: вокруг туман, сырость. Глаза стали совсем серыми. Когда я успел все это заметить и оценить? Я всего лишь однажды скользнул глазами по ней, не всматриваясь ни в какие детали. Лицо вообще мелькнуло общим планом, казалось бы. Черт бы побрал все эти фокусы подсознания.

Неужели Провидению, Случаю, или кто там заведует счастьем людей и всей их демократией, нельзя было обойтись без этой тривиальной картины: ты стоишь, как приконченный, нет сил двинуться, а любимая девушка уходит от тебя – практически с того места, где ты ее первый раз поцеловал, как следует, а она откликнулась, – по аллее, все дальше и дальше, вот уже почти не разобрать силуэт ее фигуры, вот она скрылась за поворот.

Конец.

Навсегда.

Кажется, перед тем, как повернуть, она махнула рукой. Хорошо, не махнула, сделала легкое движение. Если сделала – то мне, кому ж еще? Или вам, Лев Львович, только показалось? Сейчас же февраль, конец зимы. Вполне возможна игра света – авроры, которые в заполярье называют северным сиянием.

Может быть, это вовсе и не Вера сворачивала с аллеи.

Может быть, она и не приходила вовсе?

Черт бы побрал все органы чувств, а особенно зрение, вначале самое сильное, а затем самое слабое место всех людей и всех учителей. Давно уже нужны очки, как папе Карле, достроившему своего Буратино и бросившего шалунишку, по рассеянности, в очаг вместо кресла, расположенного напротив огня.

К врачу, несчастный, одинокий, полуслепой склеротик, страдающий сердечными перебоями и фобией современности. В понедельник.

Конец. Навсегда. Кому, скажите на милость, нужна была эта сцена, этот последний подарок, прощальный привет?

Теперь эти кадры ничем не вытравить из памяти. Это же не свидание. И не прощание. Это, если называть вещи своими именами, убийство.

Только не через повешение, а через никому не нужную гуманность.
Да, это была моя женщина. Но это еще не повод добивать меня окончательно.
Сам справлюсь.
Верно, блюз?

Размышляя над тем, что же произошло между нами в конце 2006 года, я понял одну вещь. Вера сказала мне, что она «не готова»; она просила не торопить ее. Думаю, что она просила не ее не торопить; она не хотела, чтобы я торопился. Не стоило изо всех сил спешить к такому очевидному финалу.

А разве мог быть какой-нибудь иной финал, если разобраться?

Только в моем воображении, играющем радужными аврами. Махнула рукой, не махнула, может, ее просто занесло на повороте...

Это же детский сад, а не жизнь. Пустота.

Девушка Вера была достойна любви, в этом я никогда не сомневался, и сейчас, спустя два месяца после того, как мы расстались, убедился в этом лишний раз.

Но вот почему же я был недостойн вместе с ней легким молодым шагом плестись в светлое будущее?

Неужели это какое-то особое искусство, которое мне никак не освоить?

К сожалению, я стал понимать, почему к чувству любви непременно добавляется чувство печали, как в блюзе. Нет, вовсе не оттого, что любовь рано или поздно пройдет, нет; оттого, что рано или поздно женщина обнаружит свою природу – пустоту, которая заставляет ее гениально приспособливаться. Этот ее божий дар вызывает восхищение, но на корню убивает уважение. А нет уважения – уходит и любовь.

И я чувствовал свое бессилие справиться с проблемой, не мною созданной. И одновременно я чувствовал свою вину, вину мужчины, который должен был найти решение загадки.

Кроме того, у меня был личный мотив: мне так не хотелось возвращаться в свое одиночество, в свою пустоту, где так не хватало пустой женщины, недостойной уважения.

Очевидно, таков удел людей, наделенных умом, который обрекает их на непростительную глупость – обзавестись достоинством, ведущим в пустоту...

Что она выбрала, когда выбрала своего невзрачного, плюшевого мужа, имевшего претензию считать себя «хорошим человеком»?

Что она отвергла, когда отвергла меня, знающего цену хорошим и добрым людям?

Не знаю, что она выбрала, но убежден, что она отвергла пустоту, которую я выбрал... давно. Очень давно.

А может, я даже и не выбирал ее вовсе.

Это был выбор человечества. Меня забыли спросить. Так получилось. Несчастный случай.

Кстати, в моей коллекции был блюз под названием «Несчастный случай» (автор – Добрый Негр). Разумеется, он вошел в ту подборку, которую я презентовал Вере – там, у Озера, где плавали недоумевающие утки, нацепившие зимние перья и теперь изнывающие от жары, которая наступила вместе с расцветом цивилизации.

Пора мутировать, утки.

Приспособливаться к новым условиям жизни.

13

Конечно, здесь бы и оставить поставленную точку. Но если ты не напишешь тринадцатую главу, это сделает кто-нибудь за тебя. Например, та же слепая судьба, страдающая провалами памяти. Вряд ли стоит ей доверять.

Да, долой маски. Автор этой повести – я, Лев Львович (если есть такие, кто еще не догадался; а они, рассеянные, всегда найдутся, во все времена). Я решил написать повесть «Пустота» и подарить ее Вере ровно седьмого ноября 2007 года, день в день.

Мотив этой бессмысленной и странной затеи, если уж маски содраны?

Видите ли, творчество – это первый (после любви, то есть в абсолютном исчислении – второй) способ сражаться с пустотой. Основной закон творчества мне известен по долгу службы: интрига в чувствах, а не в сюжете. (Я действительно вновь служу в Государственном вузе; а если служу, следовательно, исполняю свой долг.) Даже если вы пишете о мировой истории, об Аккадском царстве, о Цезаре или о кучке фарфорозубых желторотых, напавших на фантом Вавилона, то интрига все равно в чувствах, а не в сюжете.

Зачем же сражаться с пустотой – веществом, которое всех окружает, спросите вы? Вы сражаетесь по-своему, олигархи – по-своему. Зачем?

Не знаю. Вы застали меня врасплох своим детским, возможно, дурацким вопросом. У меня есть на него детский ответ. Вот, если угодно. Творчество – это еще и в буквальном смысле сражение с пустотой, заполнение пустоты: снежно-белая целина заполняется буквами, и безжизненное пространство оживает. Холодное белое поле наполняется буквами, из которых складываются слова, в которых пульсируют теплые чувства. Возникает физическое ощущение преодоления пустоты. Вы по-детски побеждаете Пустоту. Великое Ничто. Кажется, саму Смерть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.